



Ник. МИХАЙЛОВСКИЙ

О г. Максиме Горьком и его героях

I

Года три тому назад в разных журналах стали появляться рассказы, подписанные новым в литературе именем: Максим Горький. Они читались с интересом, от них веяло чем-то свежим; но частью потому, что многие из них печатались в мало распространенных изданиях, частью вследствие разбросанности их вообще трудно было составить себе определенное представление о литературной физиономии новоявленного писателя. Могло даже возникнуть сомнение, — обладает ли он еще какою-нибудь определенной физиономией и не есть ли он одно из тех мимолетных явлений, каких много в современной литературе: появится новый автор с повестью или рассказом, представляющими известный интерес в смысле оригинальности замысла или художественности исполнения, как будто обещающими что-то и в будущем, но затем очень скоро оказывается, что у автора только и хватило пороку на один, на два рассказа. Всегда, разумеется, были в литературе подобные мимолетные явления, но ныне что-то особенно много стало случайных гостей; побеседовали они с вами раз, другой, и, пожалуй, вы заинтересовались их беседой и недурно с ними время провели, но затем они выбывают из круга ваших знакомых, да так, что точно их и на свете никогда не было, и помянуть их нечем. Иные, правда, еще пытаются удержаться и не без гордости говорят, подобно Ипполиту Островского: «Коль скоро я пришел»... Но читатель с грустью припоминает реплику Ахова: «Коль скоро ты пришел, толь скоро ты и уйдешь»...¹ Это одно из проявлений современного литературного, скажу больше, — современного житейского оскудения вообще. Оскудению этому есть вполне уловимые причины, говорить о которых теперь трудно.

О них расскажет в свое время история. Но каковы бы ни были причины, а печальный факт остается фактом, и не удивительно, если люди, любовно следящие за русской литературой, встречают заинтересовавшего их нового автора с некоторым скептицизмом: можно ли рассчитывать на сколько-нибудь продолжительное общение с ним? есть ли у него за душой что-нибудь прочное, не изнашивающееся в два-три приема?

Скептицизм этот был естествен и относительно г. Максима Горького. Не скажу, чтобы он был устранен и теперь, когда рассказы г. Горького, частью погребенные в таких литературных могилах, как «Северный вестник»², да и вообще раскиданные, собраны и изданы отдельно. Но во всяком случае два тома его рассказов представляют собою нечто вполне определенное, притом такое, что может доставить и художественное наслаждение и пищу для размышления, что можно не только с удовольствием читать, но и перечитывать, и что помянется историей литературы, хотя бы г. Максим Горький уже ничего более не написал.

Г. Горький разрабатывает если не совсем новый, то очень мало известный рудник — мир босяков, босой команды, золоторотцев. В отличие от своих предшественников, которых, впрочем, было всего один, два, да и обчелся, и которые занимались этим своеобразным миром мимоходом и между прочим, он отдает ему все свое внимание и весь свой недюжинный талант. Мир — действительно в высокой степени заслуживающий внимания, как по своей, благодарной для художника, живописной яркости, так и по своему общественному значению. Это — чандалы европейской цивилизации. Индийские чандалы живут вне кастового строя и состоят частью из плодов строго воспрещенных *mes-alliance*'ов* между представителями трех высших каст, частью из потомков судр, за преступления или по каким-нибудь другим причинам выбывших из своей касты, частью, наконец, из покоренных неарийских туземных элементов. Наши чандалы — то, что в западной Европе называется *Lumpenproletariat*, а у нас босяки, золоторотцы, — будучи такими же отверженными из отверженных, такими же отбросами различных общественных слоев, имеют, однако, совершенно иное происхождение. Не говоря уже о Западной Европе, и у нас в России не только нет кастового строя, но и сословные перегородки постепенно сглаживаются и теряют свое значение. Сын дворянина и мецанки или крестьянина и дворянки может, ко-

* неравных браков (фр.). — *Ред.*

нечно, попасть в ряды босяков, но не по рождению, а по такому же стечению обстоятельств, какое и чистокровного дворянина, как и чистокровного мужика, может ввести в эти ряды. Лишение прав состояния за преступление тоже не обязательно ввергает людей в «золотые роты». Наконец, и о какой-нибудь национальной особенности босяков не может быть и речи. И тем не менее они, подобно индийским чандалам, стоят вне общественного строя, и даже наиболее демократические европейские партии презрительно сторонятся от Lumpenproletariat'a. Они имеют на то свои резоны. Босяки от всех берегов отстали, но ни к которому не пристали, ни в какие регулярные кадры не устанавливаются, никакой партийной или классовой дисциплины не поддаются. Правда, г. Горький готов видеть в них особый класс. Это — говорит он — люди, «которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые» (II, 24)³. Что босяки вполне достойны внимания, это несомненно, и г. Горький, показавший нам их в целом ряде картин и образов, может по праву гордиться тем делом, которое он делает. Но не потому, однако, достойны внимания босяки, что они «сильно алчут и жаждут, очень злы и далеко не глупы». Это признаки слишком общие, а вместе с тем и слишком индивидуальные. Как и а priori* можно было бы сказать, как и из рассказов г. Горького видно, есть между босяками и совсем не «очень злые», а даже очень добрые, есть, конечно, и глупые; всякие есть. Достойны они внимания как общественное явление, притом все растущее. Но чтобы босяки составляли или могли составить «класс», — в этом позволительно сомневаться, хотя бы на основании показаний самого г. Горького, с которыми мы сейчас познакомимся.

Остановимся на одном из лучших рассказов г. Максима Горького, озаглавленном по прозвищу героя «Челкаш». Рассказ этот был напечатан в «Русском богатстве», но я считаю нужным напомнить читателям некоторые его подробности, быть может, позабытые, тем более что в общей связи с другими рассказами г. Горького «Челкаш» получает особенное значение.

Дело происходит в большом приморском южном городе, вроде Одессы или Севастополя. Рассказ открывается описанием места действия. Г. Горький любит подобные описания и большой мастер на них. Особенно ему удаются марины и степные пейзажи, между которыми есть истинно превосходные. Но

* сразу же, не пускаясь в рассуждения (лат.). — *Ред.*

описание, которым начинается «Челкаш», не принадлежа к числу лучших, имеет зато некоторое принципиальное значение, давая отправную точку для суждения о многом из того, что занимает г. Горького; и, может быть, не случайно описание это попало на первые же страницы первого тома. Я приведу его целиком:

«Потемневшее от поднятой в гавани пыли, голубое южное небо мутно; жаркое солнце тускло смотрит на зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Он не может отразиться в воде, то-и-дело рассекаемой ударами весел, парходных винтов, глубокими, острыми килями турецких фелюг или других парусных судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань, в которой закованные в гранит свободные волны моря, подавленные громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные ударами, загрязненные разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений у вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки парходов, то пронзительно резкие, то глухо ревущие, крики грузчиков, матросов и таможенных надсмотрщиков — все эти звуки сливаются в оглушительную симфонию трудового дня и, нерешительно колыхаясь, стоят в небе над гаванью, как бы боясь всплыть выше и исчезнуть в нем, а к ним вздымаются с земли все новые и новые волны: то глухие, рокошующие и сурово сотрясающие все кругом, то резкие, гремящие, разрывающие уши и пыльный, знойный воздух.

Гранит, железо, мостовая гавани, суда и люди — все дышит мощными звуками бешено страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, рваные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, под тяжестью заботы, толкающей их то туда, то сюда, в тучах пыли, в море зноя и звуков, так ничтожны и малы по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудами товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы то свистели, то шипели, то как-то глубоко вздыхали, и в каждом рожденном ими звуке чудилась насмешливая нота иронического презрения к серым, пыльным фигуркам людей, ползавших по их палубам и наполнявших их глубокие трюмы продуктами свое-

го рабского труда. До слез смешны были длинные вереницы грузчиков, таскавших на себе тысячи пудов хлеба и ссыпавших его в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка, к несчастью людей, не железного и чувствующего боли голода. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестящие на солнце дородством и безмятежностью машины, созданные этими людьми; машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов... в этом сопоставлении была целая поэма жестокой и холодной иронии.

Шум подавлял, пыль, раздражая ноздри, слепила глаза, зной пек тело и изнурял его, и все кругом — здания, люди, мостовая — казалось напряженным, назревшим, готовым прорваться, теряющим терпенье, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освещенном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий нервы, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно... Но это только казалось. Это казалось потому, что человек еще не устал надеяться на лучшее, и желание чувствовать себя свободным не умерло в нем» (I, 63—65).

Из этой цитаты видно, что г. Горький не принадлежит к числу тех оптимистов, которых радует промышленный прогресс как таковой. В нарисованной им грандиозной и мрачной картине есть только один светлый луч, да и то скорее намек на луч: «человек еще не устал надеяться на лучшее, и желание чувствовать себя свободным не умерло в нем». Это-то желание и это чувство г. Горький и улавливает в своих босяках. Но не только по промышленному прогрессу, а — в связи ли с ним, или независимо от него — и к другим сторонам цивилизации наш автор относится весьма скептически. В рассказе «В степи», между прочим, читаем: «Я хочу быть только правдивым, и не в моих интересах быть грубым. Я знаю, что люди становятся все мягче душой в наши высококультурные дни и даже когда берут за глотку своего ближнего с явною целью удушить его, так стараются сделать это с возможной любезностью и с соблюдением всех приличий, уместных в этом случае. Опыт собственной моей глотки заставляет меня отметить этот прогресс нравов, и я с приятным чувством уверенности подтверждаю, что все развивается и совершенствуется на этом свете. В частности, этот замечательный процесс веско подтверждается

ежегодным ростом тюрем, кабаков и домов терпимости» (III, 5). И г. Горький держит своих героев неизменно поблизости от тюрем, кабаков и домов терпимости.

Таковы два устоя босяцкой жизни, как нам ее рисует г. Максим Горький: свободолюбие, с одной стороны, кабаки, тюрьмы, дома терпимости, вообще «порочность» — с другой.

Гришка Челкаш — «старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому люду как заядлый пьяница и ловкий, смелый вор» (I, 65). Но просто пьяница и вор не удостоился бы внимания г. Горького — мало ли их! Пьяница и вор может вызвать к себе презрение, в лучшем случае сожаление и другие подобные сочетания презрительно снисходительных и брезгливых чувств. Челкаш не таков. «Пьяница и вор» — это только одна сторона его души и жизни. Есть в нем еще многое другое, что не только не унижает его, а даже создает ему некоторый поэтический ореол и высоко поднимает его над уровнем не только обыкновенных пьяниц и воров, но и многих честных и трезвых людей. Так, «он, вор и циник, любил море; его кипучая, нервная натура, жадная на впечатления, никогда не прельщалась созерцанием этой темной широты, бескрайной и мощной» (I, 79). Уже это показывает, что Челкаш не о едином хлебе думает, не о хлебе и водке только. И недаром он так любит именно море с его широким простором: его душе особенно родственен этот простор. Он смел, великодушен, преисполнен чувства собственного достоинства, никому не позволит наступить ему на босую ногу, и те грандиозные сочетания металла, дерева и пара, которые г. Горький изобразил в начале рассказа, никоим образом не могли бы похвалиться, что они поработили, обезличили Челкаша.

Все эти качества Челкаша разворачиваются перед читателем в одном эпизоде. Челкаш затеял рискованное предприятие, — комбинацию воровства с продажей контрабандного товара, — с которым ему одному не справиться. Но под рукой нет привычного к такому делу помощника, и Челкаш берет к себе в товарищи случайно встреченного прохожего, молодого мужика Гаврилу. Парень шел домой к себе в деревню с косовицы, заработки были плохи, и Гаврила, не совсем понимая в чем дело, согласился на предложение Челкаша. При исполнении предприятия он, добродушный и глуповатый деревенский парень, вдоволь натрусился, вызывая то насмешки, то гневные окрики Челкаша, а затем произошла следующая сцена при дележе добычи. Операция принесла пятьсот сорок рублей, из которых сорок Челкаш отделил Гавриле, предполагая, по-видимому, и

еще прибавить. Но Гаврилу при виде радужных бумажек обуюла жадность, — на эти огромные для него деньги, «заработанные» в одну ночь, он у себя в деревне как бы устроился! а Челкаш ведь их просто пропьет! — И Гаврила униженно страстно молит Челкаша отдать ему всю добычу. Молит, но вместе с тем как будто и отнять покушается, потому что неожиданным движением валит Челкаша на землю.

«На, собака, жри! — гаркнул Челкаш, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем. Удаливость светилось в его глазах». Гаврила стал столь же униженно благодарить. «Челкаш слушал его визги, вопли, смотрел на его сиявшее, искаженное жадной радостью лицо и чувствовал, что он, вор и гуляка, оторванный от всего в жизни, никогда не станет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким! И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободой и удали, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу» (I, 100). Но когда Гаврила, в порыве восторга, признается, что он хотел убить Челкаша, тот решается отобрать деньги. Происходит драка: Челкаш, пораженный камнем в затылок, падает, Гаврила просит прощения и проклинает соблаздившие его деньги. Челкаш, однако, презрительно заставляет его взять добычу, оставляя себе лишь одну радужную, и случайные товарищи расходятся...

Таков босяк Гришка Челкаш. В сравнении с добродушным, работающим и глуповатым мужиком Гаврилой он, вор и пьяница, есть настоящий герой и рыцарь чести. Он, в освещении г. Горького, имеет полное право смотреть сверху вниз на этого «жадного раба». И критики, недавно восторгавшиеся посредственным рассказом г. Чехова собственно потому, что в нем «мужики» своим «деревенским идиотизмом» выгодно оттеняют фигуры трактирного лакея и горничной мебелированных комнат, уже заодно это унижение мужика — такая теперь мода — высоко оценят г. Максима Горького⁴. Я тоже ценю как талант г. Горького, так и употребление, которое он из него делает, но по несколько иным соображениям.

По-видимому, глубокое презрение к мужику и к деревенскому житью, презрение, сопровождаемое даже ненавистью, свойственно не одному Гришке Челкашу, а вообще излюбленным героям г. Горького. Так, в рассказе «Мальва» удалой золоторотец Сережка называет мужиков «земледами тупорылыми» и «кротами таракановичами», а об одном из действующих лиц отзывается так: «Мне он не по душе... деревней от него воняет,

а я запаха этого не терплю» (III, 56—59). Сама Мальва презрительно говорит, что в деревне, «как в яме, — и темно, и тесно» (III, 34). Сережка же так поясняет свою мысль в другом месте: «Я, видишь ты, всех мужиков не люблю... они сволочи! Они прикинутся сиротами, им и хлеба дают и... все!.. У них, вон, земство есть, и оно все для них делает... Я у земского доктора кучером служил, насмотрелся на них... потом бродяжил по земле много. Придешь, бывало, в деревню, попросишь хлеба — цап тебя! Кто ты, да что ты, да подай паспорт... Бывали сколько раз... То за конокрада примут... то просто так... В холодную сажали... они ноют да притворяются, но жить могут, у них есть зацепка — земля. А я что против них?» (III, 63). В «Бывших людях» ненавидит мужиков некий Тяпа. «Каждый раз, когда в ночлежке являлся какой-нибудь свежий экземпляр человека, вытолкнутого нуждой из деревни, Тяпа при виде его впадал в тоскливое озлобление и беспокойство. Он преследовал этого несчастного едкими насмешками, с злым хрипом выходившими из его горла; он натравливал на него какого-нибудь злющего босяка, грозил, наконец, собственноручно избить и ограбить его ночью и почти всегда добивался того, что запуганный и растерявшийся мужик исчезал из ночлежки и уже больше не являлся в ней». В газете Тяпа читал «о том, что в такой-то деревне градом побило хлеб, а в другой сгорело тридцать дворов, а в третьей баба отравила свою семью, — все, что принято писать о деревне и что рисует ее только несчастной, глупой и злой. Тяпа читал все это глухо и мычал, выражая этими звуками, быть может, удовольствие» (II, 168, 169). Емельян Пиляй, «мещанин голоштанник», как он сам себя называет, грозит «дворянам от сохи» разными неприятностями. Он мечтает открыть кабак и с некоторым даже сладострастием представляет себе, как он будет грабить мужика: «Мужика бы этого, черноземного барина — ух ты!., грабь! дери шкуру! выворачивай наизнанку. Придет опохмелиться — «Емельян Павлыч, дай в долг стаканчик!» — А? что?.. В долг?!.. Не даем в долг! — «Емельян Павлыч, будь милосерд!» — Изволь, буду: вези телегу, шкалик дам. Ха-ха-ха! Я бы его, черта тугопузого, пронзил!» (I, 20).

Таким образом, босяк, представитель городской культуры, является антагонистом деревенского мужика и, как ни низко стоит сам он в обществе, смотрит на мужика сверху вниз и имеет, по-видимому, для этого достаточные основания. Но прежде чем делать из этого какие-нибудь выводы, прежде чем радоваться или горевать или искать подтверждения той или другой излюбленной теории, посмотрим, как относится босяк к

представителям других сословий или классов, например, к купцам.

Аристид Кувалда, один из «бывших людей» и некоторым образом глава их или, по крайней мере, пристанодержатель, делает такое определение: «Что есть купец? Рассмотрим то нелепое и грубое явление. Прежде всего каждый купец — мужик. Он является из деревни и по истечении некоторого времени делается купцом. Для того чтобы сделаться купцом, нужно иметь деньги. Откуда у мужика могут быть деньги? Как известно, они не являются от трудов праведных. Значит, мужик так или иначе мошенничал. Значит, купец — мошенник-мужик... О, если бы я писал в газетах!.. О, я показал бы его в настоящем виде, я бы показал, что он только животное, временно исполняющее должность человека. Я понимаю его! Он? Он груб, он глуп, не имеет вкуса к жизни, не имеет представления об отечестве и ничего выше пятака не знает» (II, 175).

Правда, Аристид Кувалда — отставной ротмистр и дворянин, и можно, пожалуй, подумать, что его ненависть к купцам есть нечто исключительное. Но его дворянское прошлое, как и прошлое других его разношерстных товарищей, давно быльем поросло. Он принадлежит к числу «изгнанных из жизни, равных, пропитанных водкой и злобой, иронией и грязью» (II, 178). Мало того, благодаря некоторому образованию, недюжинному уму и ораторской способности, Аристид Кувалда, пользующийся в своей среде огромным авторитетом, может логически выразить и более или менее ясно формулировать бродящие в душах золоторотцев инстинкты и чувства. Вот, например, одна из бесед Аристида Кувалды с братией:

«— Как бывший человек (говорит Кувалда), я должен смарать в себе все чувства и мысли, когда-то мои. Это, пожалуй, верно. Но чем же я и все вы — чем же вооружимся мы, если отбросим эти чувства?

— Вот ты начинаешь говорить умно, — поощряет его учитель.

— Нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства... нам нужно что-то такое новое, ибо и мы в жизни новость...

— Несомненно, нам нужно это, — говорит учитель.

— Зачем, — спрашивает Конец, — не все ли равно, что говорить и думать? Нам недолго жить... мне сорок, тебе пятьдесят, моложе тридцати нет среди нас. И даже в двадцать долго не проживешь такой жизнью.

— И какая мы новость, — усмехается Обьедок, — гольтепа всегда была.

— И она создала Рим, — говорит учитель.

— Да, конечно, — ликует ротмистр, — Ромул и Рем, разве они не золоторотцы? И мы, придет наш час, создадим...

— Нарушение общественной тишины и спокойствия, — перекликается Обьедок. Он хохочет, довольный собой» (II, 177).

Мы еще вспомним некоторые подробности этой знаменательной беседы, а пока заметим, что среди «бывших людей» есть всякие — мужики, и дворяне, и интеллигенция, и городские, и деревенские жители, и всем им «нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства, нужно что-то такое новое». И если Мальва находит, как мы видели, что в деревне, «как в яме, — и темно, и тесно», то вот, например, босяк Коновалов говорит автору: «Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешься. И что тебя к ним тянет? Тухлая там жизнь и тесная. Ни воздуху, ни простору, ничего, что человеку надо» (II, 62). «Настроили люди городов, домов, собрались там в кучи, пакостят землю, задыхаются, теснят друг друга... Хорошая жизнь!» И только после убедительной реплики товарища Коновалов с сожалением соглашается, что «для зимы города действительно нужны... тут уж ничего с ними не поделаешь» (II, 64). В деревне, как в яме, — и темно, и тесно. Но вот и городской рабочий, сапожник Орлов говорит теми же словами: «Сижу в яме и шью» (II, 90), «сижу вот в яме и все работаю, и ничего у меня нет» (II, 93); «хоть на чердак заберись, все же в яме будешь... не квартира яма... жизнь яма» (II, 94). И в итоге своей карьеры и своих размышлений о жизни Орлов говорит: «Противно все — города, деревни, люди разных калибров... тьфу!» (II, 151).

Итак, герои г. Горького не к одному мужику относятся презрительно и ненавистно: и деревня, и город равно вызывают в них недобрые и вообще отрицательные чувства. Мало того, если вы внимательно прочтете того же «Челкаша», то увидите, что к презрению, которое босяк питает к Гавриле, примешивается странное сочетание зависти и сочувствия. Одиннадцать лет тому назад Гришка Челкаш сам был деревенским мужиком, и в разговоре с Гаврилой он «чувствовал себя обвеянным примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи исконного крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком

озими... И он чувствовал себя сбитым, упавшим, жалким и одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах» (I, 92—93). Любопытно также, что наш автор колеблется в определении тех чувств, с которыми другой ненавистник мужика, Тяпа, вычитывает в газете неприятные известия о деревне: «быть может, сострадание, быть может, удовольствие». Тяпа даже посылает одного из «бывших людей» в деревню: «...шел бы ты в деревню... просился бы там в учителя или в писаря... и был бы сыт, и проветрился бы. А то чего маешься?» (II, 173).

Из всего этого видно, что задача г. Горького лежит где-то в стороне от грубого противопоставления деревни и города. Его образы и картины разные читатели могут, разумеется, истолковывать различно, смотря по степени своего понимания, а может быть, и добросовестности. Один может подчеркнуть для себя, — а если он не просто читатель, а и критик, то и для других, — одну сторону дела, другой — другую. Эти односторонние освещения могут быть очень остроумны и представлять большой интерес в том или другом смысле. Но любопытно знать и мнения самого наблюдателя — автора, хотя для нас вовсе не обязательно с этими мнениями соглашаться. Но в двух томах рассказов г. Горького есть, кажется, только одно место, где автор прямо от себя как будто сопоставляет деревню и город. А именно: «Быть может порядочный человек культурного класса и выше такого же человека из мужиков, но всегда порочный человек из города неизмеримо гаже и грязнее порочного человека деревни» (II, 167)⁵. Но и это мнение, конечно интересное, — в качестве итога очевидно тщательных наблюдений, — очень далеко от огульного сопоставления мужика-земледельца и городского жителя вообще или, как у нас недавно еще до тошноты часто повторяли, «деревенской и городской культуры». Г. Горький сравнивает не вообще деревенских и городских жителей, а лишь определяемых известными нравственными признаками — «порядочности» и «порочности», причем относительно «порядочных» выражается сомнительно: «быть может». Да и вообще все это мимоходом брошенное замечание не имеет большого значения для основной темы г. Горького, разрабатываемой в большинстве его рассказов. Все его излюбленные герои «порочны», близки к тюрьмам, кабакам и домам терпимости, все — как деревенские, так и городские. Если, например, городские «бывшие люди» «охотно, много и скверно говорили о женщинах», то, во-первых, один из их

среды — «учитель» — сердился, «если очень уж пересаливали», а, во-вторых, и бывший мужик Челкаш — «циник». Если в рассказе «Дело с застежками» бывший мужик Мишка, к негодованию своего необузданного товарища Семки, способен расстрогаться чтением, то и городской человек Коновалов ему в этом отношении не уступит. Все это оттенки, подробности, хотя и подлежащие сложению в общие правила и вычитанию исключений, но имеющие мало значения для главной темы г. Горького. Важно, что все эти чандалы, от какого бы общественного слоя они ни откололись, будучи отверженцами из отверженцев и сами сознавая свою «порочность», считают себя вправе свысока относиться ко всему окружающему и в каких-то отношениях действительно имеют это право.

Характеризуя только что упомянутого Мишку («Дело с застежками»), г. Горький говорит, что он «типичнейший мечтатель-мужик, излюбленный персонаж писателей-народников, так много говоривших о нем и позабывших рассказать, как он, этот тип, вымирает, постепенно отравляемый суровой жизнью, которая никогда не благоволила мечтателям, нимало не нуждается в них и всегда предпочитает здоровые руки слабой голове». Кого бы ни разумел здесь почтенный автор под писателями-народниками, — вообще ли писателей, черпавших свои темы из народного быта и с особенным интересом приглядывавшихся к мужицкой жизни, или же народников, так сказать, принципиальных, идеализировавших мужика и «устой» его жизни, — он во всяком случае неправ; фактически неправ, утверждая, что писатели эти позабыли рассказать, как вымирает «мечтатель». Это было бы нетрудно доказать многочисленными примерами, но такая экскурсия в сторону недавней истории нашей литературы слишком отвлекла бы нас от г. Горького, да и не нужна она для нашей цели. Г. Горький не решается заполнить указанный им якобы пробел. Он дает ряд фигур, уже отвергнутых «суровой жизнью», и все это «мечтатели»: мечтатели-поэты или мечтатели-философы, быть может, слишком поэты и философы. И, глядя на них, приходится признать, что наша жизнь не нуждается не только в «слабых головах», предпочитая им «здоровые руки». Тут еще не было бы ничего удивительного или внимания достойного. Здоровые руки, конечно, предпочтительнее слабой головы, как маленький каменный дом предпочтительнее большого черного таракана. Удивитель-

но то, что отвергнутые жизнью мечтатели г. Горького в большинстве случаев совсем не слабые головы (г. Горький считает даже возможным, как мы видели, объединить их общим признаком: «далеко не глупы»), и руки у большинства их тоже здоровые, а они все-таки отверженцы. Отчего же это так выходит?

Есть, впрочем, у г. Горького один совершенно безрукий герой — Михаил Антоныч в рассказе «Тоска». Об нем узнаем от него самого, что он перепробовал множество профессий: был часовых дел мастером, певчим, смазчиком на железной дороге, приказчиком у лесоторговца, торговал роговыми изделиями и, наконец, где-то на фабрике в пьяном виде попал в приводной ремень, которым ему и оторвало обе руки. Тут мы имеем, по крайней мере, указание на причину, окончательно выбившую человека из строя. Но и то надо сказать, что и прежде этого печального случая Михаил Антоныч почему-то не мог приспособиться ни к одной из перепробованных им профессий, да и в приводной ремень попал пьяный, может быть, конечно, и случайно, а, может быть, и как привычный уже пьяница. Вообще г. Горький чрезвычайно скуп на разъяснение тех условий, при которых «суровая жизнь» вышвыривает за борт его героев; и даже когда более или менее подробно рассказывает их биографию, то обрывает ее на самом интересном месте. Вот, например, Гришка Челкаш. Он вспоминает свое прошлое. «Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину с добрыми серыми глазами, отца, рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую; снова себя красавцем гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел и то, как гордился перед всей деревней отец своим Григорьем, усатым здоровым солдатом, ловким красавцем...» (I, 92). Все это только вступление к жизни босяка, но г. Горький ставит многоточие и затем ограничивается темным намеком на какие-то «ошибки». В чем состояли эти ошибки, так и остается неизвестным, но достоверно, что голова у Челкаша не слабая, а руки здоровые. Из биографии удалого золоторотца Сережки (в «Мальве») только и известно, что он мещанин города Углича «везде бывал, сквозь прошел всю землю». А если г. Горький кое-где и намечает исходный момент босячества, то довольствуется общими выражениями вроде того, что «нужда загнала» или «запил», — просто

запил, да и все тут. Это слишком неопределенно. Нужда то медленно и постепенно захватывает людей своими цепкими когтями, то настигает их внезапно, без предостережений, и в том, и в другом случае подбираясь с очень разных сторон; а «запивают» люди, кроме нужды, еще и по многим другим, разнообразным, притом часто случайным, не поддающимся обобщению причинам. Попробуем обратиться за разъяснением не к г. Горькому, а к самим его героям.

Я уже заметил, что большинство этих героев поэты и философы, поэты, по крайней мере, в душе, и философы, по крайней мере, по склонности осмысливать и обобщать явления жизни. Г. Горький утверждает даже, что «каждый человек, борющийся с жизнью, побежденный ею и страдающий в безжалостном плену ее грязи, более философ, чем сам Шопенгауэр, потому что отвлеченная мысль никогда не выльется в такую точную образную форму, в какую выльется мысль, непосредственно выдвленная страданием» (II, 31). Г. Горький недаром говорит не только о точной, а и об образной форме и, надо думать, не случайно выбрал именно Шопенгауэра, этого мыслителя-художника, для сравнения со своими героями. Его излюбленные персонажи, даже в тех случаях, когда им не удастся точно сформулировать свои мысли, выражают их картинно, художественно, образно. До такой степени картинно и образно, что читателя невольно берет сомнение, — возможно ли, правдиво ли это? В знании той среды, которую он описывает, г. Горькому никоим образом отказать нельзя; подлинная правда чувствуется как в общей концепции его произведений, так и во множестве житейских подробностей, которых нельзя выдумать, сочинить. Но иногда, читая речи и размышления его босяков, поневоле вспоминаешь его собственную оценку босяцких словесных автобиографий, «в которых ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутывалась с самою наивною ложью» (II, 30). Конечно, «ложь» в данном случае слишком грубое слово по отношению к столь почтенному писателю, но речь идет не о сознательной какой-нибудь лжи. Да и босяцкую ложь надо тоже понимать. Кроткий и ко всем, кроме себя, снисходительный Коновалов, на вопрос одного из товарищей-босяков — «Не веришь?» — отвечает: «Нет, верю... Как можно не верить человеку? Даже если видишь — врет он, верь ему. Т. е. слушай и старайся понять, почему он врет? Иной раз вранье-то лучше правды объясняет человека... Да и какую мы все про себя правду можем сказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо... Верно?» — «Верно», — соглашается рас-

сказчик» (II, 31). Г. Горький рассказывает про своих героев ужасную, истинно душу потрясающую правду, не скрывая ни одной из черт их многообразной «порочности», но вышеприведенное убеждение в их превосходств над Шопенгауэром заставляет его влагать в их головы маловероятные мысли, а в их уста — маловероятные речи. Язык его босяков до крайности не характерен, напоминая собою превосходный язык самого автора, только намеренно и невыдержанно испорченный, и то же можно сказать, по крайней мере отчасти, об их философии. Вы понимаете, что старуха Изергиль может выражаться, например, так: «Однажды гроза грянула над лесом, и зашептали деревья глухо и грозно; и стало в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился» (I, 129). Эта цветистая речь, эти оригинально-красивые поэтические образы, может быть, и уместны в устах старухи Изергиль ввиду ее восточного происхождения. Безрукий Михаил Антонович философствует в таком роде: «О чем рассуждать, когда существуют законы и силы? И как можно им противиться, если у нас все орудия в уме нашем, а он тоже подлжит законам и силам? Вы понимаете? Очень просто. Значит, живи и не кобень-ся, а то тебя сейчас же разрушит в прах сила, состоящая из собственных твоих свойств и намерений и из движений жизни! Это называется философия действительной жизни... Понятно?» (I, 311—312). Прочитав эти и многие другие речи безрукого, вы чувствуете некоторую неловкость за автора, однако успокаиваетесь, когда узнаете, что безрукий «с умнейшими людьми вел по этим делам беседы» — со студентами и со многими священнослужителями церкви» (его собственное показание) и что эти «законы и силы» суть «слова», которые он произносил с каким-то особенным подчеркиванием и понижением голоса, но значение которых вряд ли было ему понятно» (показание автора). Но если в этих случаях вы находите объяснение в экзотическом происхождении Изергили и в том, что безрукий нахватался у «умнейших людей» слов, которых хорошенько не понимает, то в других — и, к сожалению, многих — случаях босяки г. Горького безмерно щеголяют красотой речи и философским парением без всяких оправданий... Местами их размышления и разговоры звучат такой фальшью, что просто больно и обидно читать. Таковы, например, очень лестные для нашего брата — писателя, но деланные, слащавые разговоры о «Подлиповцах» Решетникова⁶ и о «психологии сочинителей» в рассказе «Коновалов», да и многое другое еще. Образчиков приводить не буду, тем более что ниже, по другим

поводам, придется, вероятно, цитировать кое-что из подобных неприятных страниц.

Если отрешимся, по возможности, от разных ненужных и фальшивых украшений и не будем требовать от босяков, чтобы они превосходили Шопенгауэра точностью и образностью выражения своих мыслей, то увидим следующее. Босяки несчастны и иногда с грустью вспоминают свое прошлое, когда они так или иначе стояли в общем строе жизни. Но вместе с тем они у г. Максима Горького как будто не столько вышвырнуты из этого строя какими-нибудь внешними, объективными условиями, сколько сами ушли из него, добровольно, побуждаемые жаждою свободы, наилучше для них удовлетворяемую бродячьей жизнью. «В босяки бы лучше уйти, — говорит сапожник Орлов, — там хоть голодно, да свободно, иди, куда хочешь! Шагай по всей земле!» (II, 93). «Люблю я, друг, эту бродяжнюю жизнь, — рассуждает отставной солдат в рассказе «В степи». — Оно и холодно, и голодно, но свободно уж очень. Нет над тобой никакого начальства... сам ты своей жизни хозяин. Хоть голову себе откуси; никто тебе слова не может сказать... хорошо.. Наголодался я за эти дни, налил, а вот теперь лежу, смотрю в небо... звезды мигают мне, ровно говорят: ничего, Лакутин, ходи, знай, по земле и никому не поддавайся» (II, 13). «Родился я, слышь, под забором и помру под ним, — говорит Кузька Косяк в «Тоске». — Судьба такая. По седые волосы вдоль да поперек шляться буду... А на одном месте скучно мне» (I, 280). Старый цыган Макар Чудра учит автора или лицо, от имени которого ведется рассказ: «Ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай, вот и все!» Всякий человек, ведущий иной образ жизни, есть, по мнению Макара, «раб, как только родился, и во всю жизнь раб». «Иди, иди, и все тут, — продолжает поучать Макар. — Долго не стой на одном месте, чего в нем? Вон как день и ночь вечно бегают, гоняясь друг за другом вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтобы не разлюбить ее... Похаживай да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда» (I, 1, 2—3). Удалец Сережка излагает такую программу жизни: «Ничего не будем делать... гулять будем по земле» (III, 49), и героиня рассказа, Мальва, ставит Сережке в большое достоинство, что он «езде бывал, скрозь прошел всю землю». Коновалов отказывается жениться по следующим основаниям: «Первое дело у меня запой, во-вторых, нет у меня никакого дому, в-третьих, я есть бродяга и не могу на одном месте жить» (II, 36). Сказочный Ларра (имя это, по объяснению старухи

Изергиль, значит, «отверженный, выкинутый вон») «ходит, ходит повсюду... все ищет, ходит, ходит» (I, 113).

Я не скуплюсь на выписки из рассказов г. Горького, не только несмотря на их однообразие, а даже именно в виду этого однообразия. Автор имеет право требовать особенного внимания к таким многократно повторяющимся мотивам, очевидно, играющим значительную роль в круге его наблюдений. Да и читатель, может быть, не заметивший или пропустивший из без внимания в отдельных рассказах г. Горького, когда они печатались в журналах, теперь, естественно подчеркивает и суммирует их для себя.

Что же говорят нам только что сделанные выписки? Что это за новейшие Агасферы⁷, которым какою-то неумолимою внешнею или внутреннею силою дано предписание: ходи! ходи! ходи!? Агасферы не Агасферы, но невольно приходит в голову, что это если не отголосок кочевого быта, то прямое наследие или продолжение нашей старой «вольницы», тех «гулящих» удальцов, не менее героев г. Горького прикосновенных к тюрьмам и кабакам, которые еще в прошлом столетии слагались временами в яркое и громкое общественное явление и которые, однако, никогда не считались и не могли считаться «классом». А ведь г. Горький полагает, что его героев «пора считать за класс». А Аристид Кувалда, главный философ этого якобы класса, утверждает, что он составляет «новость в жизни»⁸. В чем же новость? Г. Горький, к сожалению, дает своими рассказами не особенно много материалов для ответа на этот вопрос.

Ядовитый скептик Обьедок возражает Аристиду Кувалде, что совсем они не новость, потому что «гольтепа всегда была». Всегда не всегда, но «гольтепа», движимая непоседливостью и удальством и склонная к «нарушению общественной тишины и спокойствия», действительно не новость. Припоминая, однако, фигуры старорусской «гольтепы», «голи кабацкой» и всякой «вольницы», мы припоминаем и указания истории не только на внутренние, психологические, субъективные моменты удальства и непоседливости, но и на внешние обстоятельства, вызывавшие или сопровождавшие эти мотивы. Гнет только еще слагавшегося государства, требовавшего часто непосильных жертв, всеобщая неурядица и несправие, соседство полудиких кочевников, внезапным налетом сметавших целые населения, — вот некоторые из условий, способствовавших, по выражению историка, образованию общей «движущейся почвы», на которой вырастала и вольница. А затем, когда государство, наконец, «прикрепило» население, гнет крепостного права явился,

в свою очередь, стимулом для бегства с насиженного места и сопряженных с этим бегством приключений. Все это давно миновалось, и ныне должны быть на лицо совершенно иные, действительно новые внешние условия, способствующие выработке «гольтепы». Но г. Горький нам их не показал, быть может, «забыл об них рассказать». Относительно безымянной гольтепы или «рядовых босяков», как в одном месте выражается г. Горький, еще можно найти некоторые, слишком общие и неопределенные указания вроде того, что «нужда загнала», но, не говоря уж о том, что этого слишком мало, мы и таких указаний не получаем относительно, так сказать, именованных чисел его рассказов, относительно его главных героев. Все они как будто не от нужды бегут из разных «ям», а, напротив, сами лезут на рожон нужды, хотя ищут, конечно, не ее, а воли — «свободно уж очень». Они даже не столько отверженные, сколько отвергшие. К некоторым из них можно бы было даже применить лермонтовское обращение к «тучкам»:

...вам наскучили нивы бесплодные...
 Чужды вам страсти и чужды страдания;
 Вечно холодные, вечно свободные,
 Нет у вас родины, нет вам изгнания.

Согласитесь, что это немножко слишком красиво и поэтично для циников, воров и пьяниц. Но если в самой глубине явления, занимающего г. Горького, под толстым слоем грязи и заключается нечто подобное, то не исключительно же только скуку наводили «нивы бесплодные», по крайней мере, на тех, которые некогда орошали эти нивы своим потом. А г. Горький до такой степени скуп на счет указаний этого рода, что даже «голодающие» вследствие неурожая мелькают у него всего два раза на протяжении всех рассказов, да и то где-то совсем вдали, не в действии, а в разговорах действующих лиц. Положим, что голодовки от неурожая, как и другие стихийные бедствия, не «новость» на Руси и, может быть поэтому не удостоились внимания нашего автора. Но вот грандиозно мрачная картина подавления человека его собственным созданием, которую начинается рассказ «Челкаш». Как бы ни уверяли нас некоторые неосновательные люди, что мы чуть не сравнялись с Англией в деле промышленного прогресса, но ведь это они рассказывают «обман своего сердца», по выражению пророка Иеремии. Означенная картина есть у нас новость, не сегодняшнего или вчерашнего дня, конечно, но настолько новость, что связанные с нею явления жизни мы вправе считать историчес-

ки новыми. И естественно было бы ожидать, чтобы г. Горький, нарисовав свою грандиозную картину, связал с нею судьбу своих героев. Ничего такого мы, однако не получаем. А между тем пути воздействия промышленного прогресса в его современных формах на образование Lumpenproletariat'a хорошо известны. Прогресс этот «освобождает» разных Челкашей, Тяп и проч. от земли и от других «пут и уз», сгоняет их к нескольким центрам, из которых, однако, периодически выталкивает часть их, иногда целыми массами, на улицу в качестве безработных; а из последних, под влиянием разных неблагоприятных условий, главным образом условий городской жизни с царящею в ней сутолокой и необузданной конкуренцией, с ее соблазнами, возбуждающими аппетит без возможности его удовлетворения, — оседают босяки. Со стороны этого-то процесса, оставленного, однако, г. Горьким без малейшей иллюстрации, его персонажи представляют собою действительно новое явление. К ним при- мыкают, с одной стороны, деревенские люди, сорванные с корня стихийными бедствиями, а с другой — разные неудачники из более высоких слоев общества, не приспособившиеся по каким бы то ни было причинам к условиям жизни, в которой родились или для которой готовились.

Но нов не только, по крайней мере, один из источников происхождения героев г. Горького. Нова в значительной степени и их психология, что уже гораздо лучше раскрывается в произведениях нашего автора. Как ни неистово и буйно прожигала жизнь старая русская вольница и голь кабацкая, но уже одно то, что она слагалась временами в целые шайки, даже в огромные полчища, то оседавшие где-нибудь на привольи в далеких краях и «кланявшиеся» московскому государю целыми областями, то входившие в состав своеобразных постоянных обществ, какова была Запорожская Сечь, то нарушавшие покой всего государства, — одно это свидетельствует о ее способности к организации и дисциплине. Совсем иное представляют герои г. Горького.

Герои г. Горького крайние индивидуалисты. Любопытно следующее замечание автора. Описывая постройку мола в Феодосии, он рассказывает: «В России голодали, и голод согнал сюда представителей чуть не всех охваченных несчастьем губерний. Они делились на маленькие группы, стараясь держаться земляк к земляку, и только космополиты-босяки сразу выделялись и своим независимым видом, и костюмами, и особым складом речи из людей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвавших с нею связь, оторванных от нее го-

лодом и не забывших о ней. Они были во всех группах: и среди вятичей, и среди хохлов, всюду чувствуя себя на своем месте» (II, 55). Это «всюду на своем месте» надо, однако, понимать только в отрицательном смысле, в том смысле, что «нет у них родины, нет им изгнания». Пожалуй, и Сережка в рассказе «Мальва», когда ему предсказали Сибирь, ответил: «Ух, страшно!» и «искренно расхохотался». Герои г. Горького везде на своем месте только потому, что нигде у них своего места нет. «Нет для меня на земле ничего удобного! Не нашел я себе места!» — говорит Коновалов (II, 65). Люди эти порвали все старые общественные связи и не нажили никаких новых. Самые пылкие их мечты лишены какого бы то ни было общественного характера и пропитаны индивидуализмом. Тот же Коновалов так рассказывает о впечатлении, произведенном на него чтением «Робинзона»: «Интересно, страх как! Очень мне понравилась книга; так бы к нему туда и поехал. Понимаешь, какая жизнь? Остров, море, небо — ты один себе живешь, и все у тебя есть, и совершенно ты свободен! Там еще дикий был. Ну, я бы дикого утопил — на кой черт он мне нужен, а? Мне и одному не скучно» (II, 59). Мальва мечтает: «Иной раз села бы в лодку и в море! Далеко-о! И чтобы никогда больше людей не видеть» (III, 62). Челкаш в минуту душевного размягчения нахлынувшими на него деревенскими воспоминаниями рисует себе мужика каким-то своего рода тоже Робинзоном, «королем на своей земле», «хозяином самому себе», у которого все свое — дом, курица, яблоко. «Король ведь? так ли? — воодушевленно закончил Челкаш длинный перечень крестьянских преимуществ и прав и почему-то запямятовал об обязанностях» (I, 91). Челкаш запямятовал не только об обязанностях, но и о людях, притом не только о начальстве в его административных, военных, финансовых функциях, но и о родственниках, соседях, товарищах; его мужик-«король» одинок, как перст. «Я отвержен, — говорит Аристид Кувалда, — значит, я свободен от всяких пут и уз. Значит, я могу наплевать на все!» (II, 198).

Все общественные отношения, в которые вступают герои г. Горького, случайны и кратковременны. Работники они плохие, не потому, чтобы были не способны к труду, а потому, что не считают для себя обязательными какие бы то ни было договоры (см., например, «Дело с застезжками»), да и бродяжнический инстинкт не дает заживаться на одном месте. Но не только с «работодателями», а и со своим братом они чрезвычайно легко порывают свои связи. Челкаш, как мы видели, прихватывает себе в товарищи первого встречного Гаврилу и

тотчас по окончании операции они расходятся в разные стороны, чтобы уже никогда в жизни более не встречаться. В рассказе «В степи» «студент» тайно от своих товарищей грабит и убивает встречного путника и затем бесследно исчезает. И если один из покинутых товарищей, «солдат», очень строго осуждает этот поступок «студента», то не по существу.

В высшей степени характерны отношения героев г. Горького к женщинам. Но прежде чем перейти к ним, остановимся на мрачной, истинно страшной картине времяпрепровождения золоторотцев в рассказе «Бывшие люди». Тут изображено некоторое более или менее постоянное гнездо босяцкое — «ночлежка», в которой изо дня в день встречаются друг с другом одни и те же люди, связанные долгой привычкой, одинаковостью положения и взаимным пониманием.

«И вдруг среди них вспыхивала зверская злоба, пробуждалось ожесточение людей загнанных, измученных своей суровой судьбой. Или ощущалась близость того неумолимого врага, который всю жизнь их превратил в одну жестокую нелепость. Но этот враг был неуловим, ибо неведом. И тогда они били друг друга, били жестоко, зверски били и снова, помирившись, напивались, пропивая все, что мог принять в заклад нетребовательный Вавилов. Так, в тупой злобе, в тоске, сжимавшей их сердца, в неведении исхода из этой подлой жизни они проводили дни осени, ожидая еще более суровых дней зимы... Иногда... вдруг отчаянное, удалое веселье вскипало в трактире: пели, плясали, хохотали и на несколько часов становились похожими на безумных... И потом опять входили в тупое, равнодушное отчаяние и сидели за столами трактира в копоты ламп, в табачном дыму, угрюмые, оборванные, лениво переговариваясь друг с другом, слушая торжествующий вой ветра и думая о том, как бы напиться водки, напиться до бесчувствия. И все были глубоко противны каждому, и каждый таил в себе бессмысленную злобу против всех» (II, 186—187).

Вот что таится в центрах современной цивилизации, вот как живет наш *Lumpenproletariat*, те современные европейские чандалы, которые откальваются от всех слоев общества везде, где «гранит, железо, мостовая, люди — все дышит мощными звуками бешено страстного гимна Меркурию». Было время — еще недавно — что разные проницательные люди предсказывали разгром европейской цивилизации ордами новых, внутренних варваров — рабочего пролетариата, которому, дескать, чужды все высшие блага, достигнутые веками прогресса. Можно с уверенностью сказать, что это пророчество, имевшее некото-

рую вероятность десятки лет тому назад, не сбудется. Европейские рабочие, составляя общепризнанный класс и правомерно участвуя в общей жизни своих стран, имеют свою положительную задачу и примыкают к преемственной культурной работе, как бы ни отличался их общественный идеал от идеалов других классов. Но процесс общественного дифференцирования не останавливается на выделении рабочего пролетариата и, не говоря о других осложнениях, в центрах цивилизации копится *Lumpenproletariat*. Здесь уж мы не видим никакого общественного идеала, никакой сколько-нибудь прочной солидарности, все рассыпается в самодовлеющие, ничем не спаянные атомы, перед которыми нет положительной, творческой задачи и которые, как говорит Обьедок: могут «создать» только нарушение общественной тишины и спокойствия. «Особливые мы будем люди и ни в какой порядок не включаемся», — философствует Коновалов. Этим чанда-лам, конечно, ничто из благ цивилизации не может быть дорого, и решение пушкинского Фауста — «все утопить» — было бы им вполне понятно. Их и посещают подобные мечты. Так, Мальва, выразив желание убежать далеко в море и никогда больше людей не видеть, прибавляет: «А иной раз так бы каждого человека завертела, да и пустила волчком вокруг себя... Избила бы весь народ. И потом бы себя страшную смертью». Так, бывший сапожник Орлов скорбит, что он «никакого геройства не совершил». «А и по сю пору, — продолжает он, — хочется мне отличиться на чем-нибудь... Раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей и жидов перебить... всех до одного! Или вообще что-нибудь этакое, чтобы встать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... И потом вниз тормашками с высоты и ... и в дребезги!» (II, 194—195). Это не значит, что то были все злые люди. Напротив, прямо злых, кажется, и совсем нет в коллекции г. Горького, а многим из его персонажей свойственны черты добродушия и великодушия, и на добрые дела они способны. Емельян Пиляй идет на убийство и грабеж, а кончает спасением девушки (вслед затем, впрочем, совершает бессмысленнейший уличный скандал). Коновалов, единственно ради доброго дела, извлекает из дома терпимости проститутку (из чего, впрочем; в конце концов ничего путного не выходит). Да и Мальва вовсе не злая женщина. Но в ожидании случая «избить весь народ», она хотела бы хоть дом поджечь — «вот суматоха была бы!» (III, 62), а затем сообщая с удалым Сережкой придумывает план (и приводит его в исполнение) стравить отца с сыном, собственно потому, что «потешно будет». На лице Сережки «не было

заметно ни злобы, ничего, кроме добродушной и немножко озорной улыбки», когда он убеждал Мальву: «Ты подумай... разве не приятно смотреть, как из-за тебя люди ребра друг другу ломают? Из-за одних только твоих слов?.. двинула ты языком раз, два и готово!.. Эх, ежели б я красивой женщиной был! Таковую бы я на сем свете заваруху завел!» (III, 64). Словом, они готовы сделать всякую пакость ближнему, и не со зла, а так для утешения своего я, над всем и всеми возвышающегося. Это даже не индивидуалисты, а, выражаясь модным, но по нынешнему времени, очевидно, нужным термином, — «эготисты». Орлов заявляет своей жене Матрене, что ему жениться не следовало бы, а лучше бы идти в босяки. «Так иди, — говорит Матрена, — а меня отпусти на волю». Но Орлов ее за эти слова прибил «беспощадно»... Одно дело сам он и другое дело — его жена...

II

Рассказы г. Максима Горького обратили на себя общее внимание. Об них говорят, пишут и, кажется, все более или менее признают за автором и дарование, и оригинальность тем. Однако «более или менее», и если одни, например, восторгаясь писаниями г. Горького вообще, подчеркивают господствующий будто бы в них художественный такт, то другие — и, надо признаться, с гораздо большим правом — утверждают, что именно художественного такта ему и не хватает.

Интересен отзыв литературного обозревателя «Русских ведомостей» г. И-т. * От почтенного критика не укрылась часто впадающая в фальшь идеализация г. Горьким его излюбленных персонажей. Но мне кажется, что представленная критиком общая схема этой идеализации не совсем верна. Лермонтовская царица Тамара была «прекрасна, как ангел небесный, как демон, — коварна и зла». Такой же контраст между внешностью и внутренним содержанием представляют собою, по мнению критика, и персонажи г. Горького, «только с обратным математическим знаком». Там, где у Тамары стоит плюс, у босяков г. Горького — минус, и обратно. Внешний облик и, так сказать, внешняя сторона поведения босяков — безобразны: они грязны, пьяны, грубы, неряшливы, но зато коварство и злоба Тамары заменены у чандалов г. Горького «стремлением к

* См. предыдущую статью И. Игнатова. — *Ред.*

добрю, к истинной нравственности, к большей справедливости и заботе об уничтожении зла». В этом-то контрасте à la Тамара навыворот и заключается главный интерес действующих лиц рассказов г. Горького. Чтобы вполне понять мысль критика, надо обратить внимание на его сопоставление босяков г. Горького с героем драмы Жана Ришпена «Le chemineau». Герой этот есть «прежде всего рыцарь свободы». Оковы общества, семьи, каких бы то ни было привязанностей к месту, домашнему очагу, одним и тем же впечатлениям, одной и той же страсти — ненавистны ему. Из всех сильных чувств у него постоянно живет только одно — любовь к передвижениям, к воле, «к простору полей, больших дорог, беспредельных пространств и постоянных изменений». Не сила обстоятельств создала из него блуждающего оборванца, сегодня отдающегося одному занятию, завтра остающегося без дела, полуголодного и бесприютного; но собственной волей он «взял свою судьбу» и сделал из себя бродягу «по принципу». Эту черту мы знаем и в чандалах г. Горького; и им, как мы видели в прошлый раз, не «силою обстоятельств» — по крайней мере, эти обстоятельства остаются в тумане, — а каким-то внутренним голосом предписано, как Агасферу: ходи, ходи, ходи! Но, судя по изложению г-на И-т., герой драмы Ришпена (мне она, к сожалению, неизвестна) совершенно чужд другой стороне их быта и психологии — той сторонке, которая ставит их в тесное соприкосновение с «тюрьмами, кабаками и домами терпимости». По словам критика, «le chemineau — не загнанный бродяга, к котором подозрительно относятся люди, вступающие с ним в сношение, не нищий, получающий подавание и злобою отвечающий на презрение других. Как истинный рыцарь, он благороден, смел и откровенен; двери каждого дома открыты для него, потому что его ум, таланты, выдающиеся достоинства делают из него превосходного работника, общего благодетеля, устранителя зол и надежного покровителя слабых». Не таковы, как мы видели, пьяные, циничные, всеми презираемые герои г. Горького. В связи с этим находится и другое различие: le chemineau гуляет по белому свету бодрый и жизнерадостный, а в босяках г. Горького это настроение «заменяется постоянным беспокойством, затаенной тоской, скрытой заботой, находящей исход в пьянстве». В конце концов г. И-т., возвращаясь к контрасту между безобразной внешностью и красивым внутренним миром, говорит, что в отношении этого внутреннего мира герои г. Горького распадаются на три разновидности: в одних преобладает искажение истины и невозможность найти ее, в других — деятельное

стремление к водворению справедливости на земле, в третьих — разъедающий скептицизм. Все это, вместе взятое, лишает их жизненности и правдивости, хотя и не в такой мере, в какой лишен этих качества chemineau Ришпена. Таков окончательный вывод г. И-т.

При всем остроумии и соблазнительной законченности этой критики я не могу с нею вполне согласиться. Герои г. Горького много философствуют, слишком много, и в этих их философствованиях, часто превращающих их из живых, от себя говорящих людей в какие-то фонографы, механически воспроизводящие то, что в них вложено, — в этих философствованиях можно действительно иногда усмотреть намеки на указанные три категории. Но большинство их, да и общий их характер никак в эти категории не затиснешь. Да и самая противоположность между внешностью и внутренним миром едва ли может быть в данном случае установлена с такою ясностью и определенностью, как в лермонтовской Тамаре. Там дело действительно ясно и просто: прекрасна телом, коварна и зла душой, и отсюда вытекает все остальное со включением эстетического эффекта. В данном случае свет и тени, располагающиеся, по мнению критика, в обратном порядке, на самом деле гораздо сложнее. Прежде всего речь здесь не о теле идет и вообще не о наружности в буквальном смысле слова. Герои г. Горького не Квазимодо какие-нибудь. Если, например, Сережа довольно-таки безобразен, то Коновалов чуть не красавец, и, читая описание его наружности, я невольно вспомнил фразу из какого-то французского романа: «он обнажил свою руку, мускулистую, как рука кузнеца, и белую, как рука герцогини». Или Кузька Косяк: «он стоял в свободной сильной позе; из-под растегнутой красной рубахи видна была широкая смуглая грудь, дышавшая глубоко и ровно, рыжие усы насмешливо пошевеливались, белые частые зубы сверкали из-под усов, синие большие глаза хитро прищурились» (I, 282). Это, конечно, не пара Тамаре, не «ангел небесный», но в своем роде очень все-таки красиво. Старуха Изергиль и сама когда-то была красавицей, и очень ценит красоту. Она уверена даже, что «только красавцы могут хорошо петь» (I, 114) и что «красивые всегда смелы» (I, 128). Безобразна внешняя обстановка босяков, но и то не совсем верно, потому что г. Горький часто помещает их на море и в степи и вместе с ними восторгается красотой открывающихся при этом горизонтов. А кабаки, публичные дома, ночлежки, конечно, безобразны, равно как и лохмотья, в которые облечены босяки вместо «парчи и жемчуга» царицы Тамары, но ведь иначе они

и не были бы босяками. А во всем остальном слишком трудно провести пограничную линию между внешностью и внутренним миром. Кабаки, тюрьмы, дома терпимости — бесспорно внешность, но почему внешность то, что к ним приводит и в них совершается? почему внешность — пьянство, цинизм, злоба, драки? Правда, из-за всего этого у г. Горького часто выглядывает нечто иное, что приподнимает босяков; но с какой точки зрения можно отнести, ну, хоть, например, ограбление и убийство «студентом» прохожего столяра («В степи») — к «исканию истины» или к «стремлению водворить справедливость на земле», или к «разъедающему скептицизму»? Дело в том, что взгляды босяков г. Горького на нравственность и справедливость не имеют ничего общего со взглядами, исповедуемыми огромным большинством современников. Недаром Аристид Кувалда говорит, что он должен «смарать в себе чувства и мысли», воспитанные прежнею жизнью, и что «нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства, нужно что-то такое новое». Эти люди стоят на точке «переоценки всех ценностей» и *inseits von gut und böse* *, как сказал бы Ницше.

Столь обаятельная личность, какую Ришпен изобразил своего *chemineau*, естественно притягивает к себе женские сердца, и он не отказывается от радостей любви. Но, повинувшись инстинкту бродяги, он оставляет одну за другою осчастливленных им женщин, хотя и «с болью в сердце». Под старость, утомленный терниями жизни, он попадает в то место, где двадцать с лишком лет тому назад он любил одну девушку и был любим. Плод этой любви, до сих пор не изжитой, стал уже взрослым парнем, и бродягу манит перспектива отдыха в кругу семьи, у постоянного очага. Но после некоторого колебания он «с рыданиями» уходит куда глаза глядят, и драма оканчивается словами: «*Va, chemineau, chemine!*» Этим мелодраматическим концом, в сущности просто комическим, подчеркивается присутствие в бродяге того внутреннего, почти мистически властного голоса, который обрекает его на существование Агасфера.

Босяки г. Горького, хотя и не обладают достоинствами *chemineau*, но также очень счастливы в любви. Правда, по показанию автора, они на эту тему много врут, хвастают и скверно хвастают, но, например Коновалову он безусловно верит. А у того «их», то есть женщин, «много было разных». И оставлял он их не потому, чтобы узы любви сами собою обрывались с

* По ту сторону добра и зла (нем.). — *Ред.*

той или с другой стороны, и не потому, чтобы манила новая любовь, а в силу того же мистического внутреннего приказа, какой и chemineau не давал усесться. Разница, однако, в том, что герои г. Горького порывают узы любви без колебаний и без «sanglots». Самый чувствительный из них, Коновалов, только впадает при расставании в некоторую грусть и меланхолию, но и то потому, что ему, при его чувствительности, жалко покидаемую, жалко ее горя и слез, а сам он нимало не колеблется в выборе между домашним очагом и бродяжничеством. Был у Коновалова роман с богатой купчихой Верой Михайловной, прекраснейшей женщиной; все шло прекрасно, шло бы и дальше так же хорошо, «кабы не планета моя», говорит Коновалов: «Все-таки ушел от нее — потому тоска! тянет меня куда-то!» В другой раз Коновалов, по той же чувствительности своего сердца, помог одной проститутке выбраться из публичного дома. Но когда девушка поняла это в таком смысле, что он возьмет ее жить с ним «вроде жены», то, при всем своем расположении, Коновалов даже испугался: «Я есть бродяга и не могу на одном месте жить». Но Коновалов все-таки хоть грустит при расставании. А вот как утешает свою возлюбленную Кузька-Косяк, уходя — без какой-нибудь надобности — на Кубань: «Э, Мотря! Многие меня уж любили, со всеми я распрощался, и ничего себе — повыходили замуж да позакисли в работе! Встретишь иной раз, посмотришь — своим глазам веры нет! Да разве это они — те самые, которых я целовал да миловал? ну-ну! Одна другой ведьмистей. Нет уж, Мотря, не мне на роду писано жениться, да, дурашка, не мне. Волю мою ни на какую жену, ни на какие хаты не сменяю... На одном месте скучно мне» (I, 279—280). Случайно подслушавший этот разговор хозяин Кузьмы мельник Тихон Павлович, — об котором у нас еще будет речь, — говорит ему, что нехорошо он с девками поступает: «Ежели, к примеру, ребенок? бывало ведь, а?» — «Чай, бывало, кто их знает», — отвечает Кузьма и на дальнейшие замечания мельника о «грехе» возражает: «Да ведь ребята-то, подика, одним порядком родятся, что от мужа, что от прохожего». Мельник напоминает о разнице в данном случае между положением мужчины и положением женщины, и Кузьма на это уже не дает прямого ответа, а «серьезно и сухо» говорит: «Коли покрепче подумать, так выходит, что как ни живи, все грешно! И так грешно, и вот этак грешно. Сказал — грешно, промолчал — грешно, сделал — грешно, и не сделал — грешно. Рази тут разберешь? В монастырь, что ли, идти? Чай “неохо-

та". — Легкая, веселая твоя жизнь, — замечает с некоторою смесью зависти и уважения мельник...» (I, 283).

Такую же легкую и веселую жизнь ведут и некоторые героини г. Горького. Старуха Изергиль рассказывает, «как она любила». Ей было пятнадцать лет, когда она сошлась с каким-то черноусым «рыбаком с Прута», но он ей скоро надоел, и она ушла с рыжим бродягой-гуцулом; гуцула повесили (за что Изергиль сожгла хутор доносчика); она полюбила немолодого уже турка и жила у него в гареме, из которого убежала с сыном турка; затем следовали поляк, венгерец, опять поляк, еще поляк, молдаванин... Мальва, героиня рассказа, озаглавленного ее именем, живет с рыбаком Василием, заигрывает и кокетничает с его сыном Яковом и, наконец, перессорив отца с сыном, сходится с удалым забулдыгой Сережкой, с которым, судя по некоторым признакам, и раньше была одно время близка...

Мальва — фигура чрезвычайно любопытная, и нам тем более надо на ней остановиться, что едва ли не во всех женщинах г. Горького есть, так или иначе, немножко Мальвы. Это тот самый женский тип, который мелькал перед Достоевским в течение чуть не всей его жизни: сложный тип, тоже находящийся *ienseits von gut und böse*, так как к нему решительно неприменимы обычные понятия о добром и злом — одна из вариаций на сочетание двух знаменитых тезисов Достоевского: «человек деспот от природы и любит быть мучителем», «человек до страсти любит страдание». Мужские вариации на эту тему, как бы ни были они исключительны и болезненны, часто поражают у Достоевского своей яркостью и силой, но женские — в «Игрок», в «Идиоте», в «Братьях Карамазовых» — решительно ему не удавались. Все эти Полины, Грушеньки, Настасьи Филипповны и проч. оставляют вас в каком-то недоумении, хотя Достоевский сводит иногда даже по две представительницы этого загадочного типа (Настасья Филипповна и княжна Аглая в «Идиоте», Грушенька и Катерина Ивановна в «Братьях Карамазовых»). Вы только чувствуете, что у автора был какой-то сложный замысел, с которым, однако, не справился его жестокий талант. И недаром наша критика, много занимавшаяся женскими типами Тургенева, Гончарова, Толстого, Островского, обходила молчанием женщин Достоевского: это в художественном смысле наименее интересный пункт его мрачного творчества. Мальва г. Горького принадлежит к этому же типу, но она яснее, понятнее загадочных женщин Достоевского. Я, конечно, далек от мысли сравнивать изобразительную силу г. Горького с мощью одного из истинно великих художников, и

дело здесь не в силе г. Горького, а в той грубой и сравнительно простой среде, в которой выросла и живет его Мальва и благодаря которой ее психология элементарнее, яснее, сохраняя, однако, те же типические черты, которые тщетно старался уловить Достоевский.

Один русский философ разделял женщин на «змеистых» и «коровистых». В этой не лишенной остроумия юмористической классификации Мальве нет места (как, впрочем, и многим другим женским типам). О сходстве с коровой не может быть и речи: для этого Мальва слишком жива, гибка и изворотлива, да и нет на ней той всегдашней печати материнства, которая лежит на корове. Со змеей же мы привыкли соединять представление о чем-то красивом и вместе с тем неизменно злобном. А Мальва вовсе не неизменно злобная женщина, да и вообще в ней нет ничего неизменного. Вся она состоит из переливов одного настроения или чувства в другое, часто противоположное, но быстро преходящее, причем сама она не могла бы не только определить причины этих переливов, но даже указать их границы, моменты перехода одного настроения или чувства в другое. И если нужно искать для нее зоологическую параллель, которая бы выпуклее представила ее основные черты, я сказал бы, что она, как и загадочные героини Достоевского, напоминает собой кошку. Та же привлекательность, объясняющаяся сочетанием силы и мягкости (собственно, Мальва, циничная и грязная, привлекательна только для героев г. Горького и в людях с более тонкими требованиями вызвала бы, конечно, совсем иные чувства; но я говорю о типе, оставляя пока в стороне специально босяцкие черты); та же лукавая изворотливость и ловкость, та же самостоятельность и всегдашняя готовность к самозащите иногда бегством, но иногда открытым и упорным сопротивлением, переходящим и в наступление; та же игривая ласковость и нежность, незаметно переливающаяся в озлобление, с которым кошка, играючи, придерживает ласкающую ее руку передними лапами, а задними царапает и зубами грызет; ради этой смеси ощущений она, как и кошка, сама вызывает известную примесь жестокости, и даже до боли, к ласке...

Я вспоминаю, что Гейне поставил в преддверии своей «Книги песен» женского сфинкса — существо с женской головой и грудью и с львиным туловищем и львиными, то есть преувеличенными кошачьими когтями. И этот сфинкс в одно и то же время счастливит и мучит поэта, ласкает и терзает когтями:

Umschlang sie mich, meinen armen Leib
Mit den Lowentatzen zerfleischend.

Entzuckende Marter und wonniges Weh,
 Der Schmerz wie die Lust unermesslich!
 Die weilen des Mundes Kuss mich beglückt,
 Verwunden die Tatzen mich grasslich... *

Читатель, который, может быть, только что возмутился не только вышеприведенным юмористическим разделением женщин на змеистых и коровистых, но и моим уподоблением известного человеческого типа кошке, теперь, пожалуй, подумает: с какой стати подниматься в высоты Гейневской поэзии по поводу какой-то отверженной, грубой Мальвы? Не слишком ли это много чести для нее? Может ли она сама ощущать и в других возбуждать те тонкие оттенки сложных душевных движений, которые описаны Гейне? Я думаю, однако, что читатель не сказал бы этого, если бы у нас шла речь о Грушеньке «Братьев Карамазовых» или Настасье Филипповне «Идиота». А между тем фактически ведь это продажные женщины, хотя им и доступны высшие колебания и тяготения. Но всякому своя слеза солона. Да и, наконец, повторяю, не об Мальве собственно в эту минуту и речь. Несмотря на грязь, в которой она купается, в ней живут некоторые черты душевной жизни, которыми занимались люди высокого ума и сильного художественного дарования, но которые доселе мало изучены и недостаточно ясны. Черты эти сводятся главным образом к неопределенности границ между наслаждением и страданием, которые мы привыкли резко противопоставлять одно другому, вследствие чего вкладываем слишком абсолютный смысл в ходячее положение: человек ищет наслаждения и бежит страдания. Мрачный гений Достоевского стремился вывернуть этот афоризм наизнанку, придавая ему в этом вывороченном виде столь же безусловный смысл. Это ему не удалось, конечно, но и многими своими образами и картинами и своим собственным примером, характером своего творчества, он дал блестящие иллюстрации той entzuckende Marter и того wonniges Weh, той смеси страдания и наслаждения, которая несомненно существует. Вопрос этот слишком обширный и сложный, чтобы трактовать его в

* В переводе М. Л. Михайлова:

Вот замерла — и меня обняла,
 Когти мне в тело вонзая.
 Сладкая мука! блаженная боль!
 Нега и скорбь без предела!
 Райским блаженством поит поцелуй,
 Когти терзают мне тело.

заметках об очерках и рассказах г. Максима Горького, и мы подойдем теперь прямо к Мальве. В таланте г. Горького нет ни силы, ни жестокости, ни бесстрашия Достоевского, но зато он вводит нас в среду, где не стесняются в словах и жестах, поют откровенные песни, ругаются крепкими словами, походя дерутся и где поэтому известные душевные движения получают осязательное, почти животное выражение.

Мальва живет с рыбаком Василием. Василий — пожилой мужик, покинувший для заработков пять лет тому назад деревню, где у него остались жена и дети. Живет он с Мальвой весело, но внезапно является к ним его сын, Яков, взрослый уже парень, с которым Мальва тотчас же начинает заигрывать. Делает она это, не только не стесняясь присутствием своего любовника, но еще поддразнивая его, и разговор кончается тем, что Василий ее жестоко бьет.

«Она, не охнув, молчаливая и спокойная, упала на спину, растрепанная, красная и все-таки красивая. Ее зеленые глаза смотрели на него из-под ресниц и горели холодной грозной ненавистью. Но он, отдуваясь от возбуждения и приятно удовлетворенный исходом своей злобы, не видал ее взгляда, а когда с торжеством и презрением взглянул на нее, — она тихонько улыбалась. Сначала чуть-чуть дрогнули ее полные губы, потом вспыхнули глаза, на щеках ее явились ямки, и она засмеялась» (III, 31). Затем Мальва ластится к Василию, уверяет его, что она довольна его побоями, а что дразнила его — «так ведь это я нарочно... пытала тебя, — и, успокоительно усмехнувшись, она прижалась к нему плечом. А он покосился в сторону шалаша (где оставался сын) и обнял ее. — Эх ты... пытала! Чего пытать? Вот и допыталась. — Ничего, уверенно сказал Мальва, щурия глаза. Я не сержусь... ведь любя побил? А я тебе за это заплачú... Она в упор посмотрела на него, вздрогнула и, понизив голос, повторила: ах, как заплачú!» (III, 32).

Простодушный Василий видит в этом обещании нечто для себя приятное, но читатель может догадаться, что Мальва затаила злобу и месть. Мальва и действительно делает большую неприятность Василию: ссорит его с сыном и доводит дело до того, что он уходит домой, в деревню. Но план этот она задумывает уже позже, по совету забулдыги Сережки, а перед тем у нее происходит с этим Сережкой такой разговор. Она сообщила Сережке, что ее прибил Василий; Сережка подивился, — как это она далась. «Кабы захотела, не далась бы, — возразила она с сердцем. — Так что же ты? — Не захотела. — Крепко, значит, любишь седого кота? — насмешливо сказал Сережка и об-

дал ее дымом своей папиросы. — Ну, дела! а я было думал, что ты не из таких. — Никого я вас не люблю, — снова уже равнодушно говорила она, отмахиваясь рукой от дыма. — Врешь, поди-ка? — Для чего мне врать? — спросила она, и по ее голосу Сережка понял, что врать ей, действительно, не для чего. — А ежели ты его не любишь, как же ты ему позволяешь бить тебя? — серьезно спросил он. — Да разве я знаю? Чего ты пристаешь?» (III, 61). Герои г. Горького вообще много дерутся, часто и баб своих бьют. Самые умеренные из них в этом отношении советуют: «Никогда не следует бить беременных женщин по животу, по груди и бокам... бей по шее или возьми веревку и по мягким местам» (II, 185). И бабы не всегда протестуют против этих правил. Жена Орлова говорит мужу: «Очень уж ты по животу и по бокам больно бьешь... хоть бы ногами-то не бил» (II, 92). Бывает, однако, и так, что прекрасный пол переходит в наступление. В числе «бывших людей» есть старик Симцов, необыкновенно счастливый на амурные похождения: он «всегда имел двух-трех любовниц из проституток, содержавших его по два и три дня кряду на свои скудные заработки. Они часто били его, но он относился к этому стоически: сильно избить его они почему-то не могли — может быть, жалеючи» (II, 199). Но кто бы кого ни бил у г. Горького — мужчина женщину или женщина мужчину, — а эти физические упражнения и сопровождающие их озлобление, обида, страдание, боль так или иначе оказываются в какой-то связи с лаской, любовью, наслаждением. И, читая описания этих битв, поневоле вспомнишь героя «Записок из подполья» Достоевского и его изречения: «Иная сама, чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает: так, вот, люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй...» «Знаешь ли, что из любви нарочно человека мучить можно». Или: «Любовь-то и состоит в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать». Оттого-то «Игрок» и Полина, как и многие другие пары Достоевского, никак не могут разобраться — любят они друг друга или ненавидят... как не знает и Мальва, любит она или ненавидит Василия. Но у Достоевского люди «тиранствуют» и «мучат» друг друга утонченно, при помощи разных кусательных слов, мучительного давления на воображение и проч., а здесь, у г. Горького, — просто дерутся. Эта грубая форма не только, однако, не мешает проявлениям того же переплета наслаждения со страданием, но даже особенно ярко подчеркивает его. Не одна Мальва додразнивает мужа или любовника до драки, за которую следуют нежные ласки.

Вот и Матрена, жена Орлова («Супруги Орловы»): «Побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслаждение, возбуждая всю ее душу, и она, вместо того чтобы двумя словами угасить его ревность, еще более подзадоривала его, улыбаясь ему в лицо странными улыбками. Он бесился и бил ее, беспощадно бил. А потом, когда злоба, достаточно насыщенная, утихла в нем и его брало раскаяние, он пробовал заговаривать с женой и допытываться — зачем она его дразнила». «Она молчала, но она знала зачем, знала, что теперь ее, избитую и оскорбленную, ожидают его ласки, страстные и нежные ласки примирения. За это она готова была ежедневно платить болью в избитых боках. И она плакала уже от одной только радости ожидания, прежде чем муж успевал прикоснуться к ней» (II, 93, 94).

Сюда же относятся следующие, например, случаи. Когда Коновалов объявил своей любовнице, Вере Михайловне, что он больше с ней жить не может, потому что его «тянет куда-то», она сначала стала кричать, ругаться, потом примирилась с его решением, а на прощанье — рассказывает Коновалов — «обнажила мне руку по локоть, да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не заорал. Так целый кусок и выхватила почти... недели три болела рука. Вот и сейчас знак цел» (II, 12). Старуха Изергиль рассказывает про одного из своих многочисленных любовников: «Был он такой печальный, ласковый иногда, а иногда, как зверь: ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо. А я, как кошка, вскочила ему на грудь, да и впилась зубами в щеку... С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее» (I, 116).

Старуха Изергиль называет свою жизнь «жадной жизнью» (I, 123). Буквально то же самое говорит в рассказе «На плотях» одно из действующих лиц про Марью: «жадна жить» (I, 250). Так же характеризуется и Мальва и др. Но таковы не только женщины г. Горького. И у Челкаша «натура жадная на впечатления» (I, 79), и Кузька-Косяк учит: «...жить надо и так, и этак, — всюю чтобы» (I, 281). И т. д. Этим объясняется многое. Этим прежде всего снимается мистический покров с внутреннего голоса, предписывающего неустанное бродяжество. В условиях жизни героев г. Горького везде «тесно», везде «яма», как они беспрестанно, даже несколько надоедливо однообразно, повторяют. Является желание, если не расширить и углу-

бить сферу впечатлений, то менять их в пространстве, и даже до того, что хоть хуже, да иначе. А если и это почему-нибудь невозможно, то оказывается необходимость искусственного возбуждения. Дается оно, конечно, пьянством, но не одним пьянством. Достояна внимания отметка г. Горького о чувствах избиваемой жены Орлова: «побой озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслаждение, возбуждая всю ее душу». Вся душа Матрены Орловой требует работы, хотя бы и мучительной, лишь бы «жить во всю». Эта потребность всесторонней душевной деятельности, покупаемой ценою примеси страдания к наслаждению, иллюстрируется рассказом «Тоска». Это — «страничка из жизни одного мельника».

Мельник Тихон Павлович не босяк какой-нибудь. Он богат, пользуется уважением и почетом и наслаждается «ощущением своей сытости и здоровья». Но вдруг он с чего-то загрустил: тоска обуяла, скука, совесть за разные кулацкие успехи начала угнетать. И Тихон Павлович стал вспоминать, с какого это времени на него нашло. Был он в городе и наткнулся на похороны, в которых его поразила смесь бедности с торжественностью: много венков, много провожатых. Оказалось, что хоронят писателя, и на могиле его один из провожавших сказал речь, которая растревожила Тихона Павлыча. Оратор, воздавая хвалу почившему, говорил, что он был не понят при жизни, потому что «засыпали мы наши души хламом повседневных забот и привыкли жить без души» и т. д. Красноречие ли оратора, особенности ли обстановки похорон или еще что-нибудь повлияло, но с этих пор Тихона Павлыча засосала тоска, тяжелое раздумье о своей «засыпанной хламом повседневных забот душе». Затем Тихон Павлыч нечаянно подслушал вышеприведенный разговор своего работника Кузьки-Косяка с девушкой Мотрей и сам имел с Кузькой беседу, в которой старался сохранять вид «нравоучительный и чинный», но в душе завидовал «легкой жизни» веселого собеседника. Заговорил было Тихон Павлыч с женой на тему о душе, заваленной хламом; та посоветовала в церковь что-нибудь пожертвовать, сироту в дом взять, за доктором послать; но все это не удовлетворяло мельника. Он решил ехать в соседнее село Ямки к школьному учителю, который еще недавно обличил в газете одну его кулацкую каверзу. Кузька советует ему иное: «Вы бы, хозяин, поехали до города, да и кутнули там всю; вот вам и помогло бы». Однако мельник даже несколько обижается этим советом и едет к учителю. Но тот, больной и желчный, не может вникнуть в состояние души обличенного им кулака и понять его бессвязные речи.

Мельник едет в город, бессознательно исполняя совет босяка Кузьки, и там, в городе, закучивает. Все подробности этой оргии для нас неинтересны, но некоторые из них надо припомнить.

Грязный трактир. Разные пьяные, пропащие люди. Собираются петь, музыка есть — гармоника. И вот как один из компании учит гармониста: «Нужно начинать с грусти, чтобы привести душу в порядок, заставить ее прислушаться... Она чувствительна к грусти... Понимаете? Вот вы ей сейчас и закиньте удочку — «Лучинушкой», к примеру, или «Заходило солнце красное» — она и приостановится, замрет. А тут вы ее хватите сразу «Чоботами» или «Во лужах», да с дробью, с пламенем, с плясом, чтобы ожгло! Ожгете ее, она и встрепенется! Тогда и пошло все в действие. Тут уж начнется прямо бешенство: чего-то хочется и ничего не надо! Тоска и радость — так все и заиграет радугой»... Запели... Описание собственно этого пения (I, 315—320) принадлежит к числу лучших страниц в обоих томах рассказов г. Горького. Здесь нет и тени той фальши и тех досадных нарушений меры вещей, которые слишком часто оскорбляют и эстетическое чувство читателей и их требование правды. Из знакомых мне изображений эффекта пения с этими страницами можно поставить рядом «Певцов» Тургенева, и за г. Горького не стыдно будет от этого сравнения. И вы понимаете, что пьяный трактир действительно затих при звуках этой песни и мельник действительно «давно уже неподвижно сидел на стуле, низко свесив на грудь голову и жадно вслушиваясь в звуки песни. Они снова будили в нем тоску, но теперь к ней примешивалось что-то едко-сладкое, щекочущее сердце... Было что-то жгучее и щиплющее во всех этих ощущениях — оно было в каждом из них и, соединяясь, образовало в душе мельника странную сладкую боль, точно большая, давившее его сердце льдина таяла, распадаясь на куски, и они кололи его там, внутри» (I, 318).

«Сладкая боль»! — ведь это буквально гейневские *enzukende Marter* и *wonniges Weh* («сладкая мука, блаженная боль» в переводе М. Л. Михайлова). Она одновременно счастливит и мучит мельника, и это состояние он старается выразить отрывистыми восклицаниями: «Братцы! Больше не могу! Христа ради, больше не могу!» «Душу мою пронзили! Будет — тоска моя! Тронули вы меня за большое сердце, то есть часу у меня такого не было еще в жизни!» «Тронули вы мне душу и очистили ее. Чувствую я теперь себя — ах, как! В огонь бы полез» (I, 319, 320).

После четырех дней безобразного кутежа Тихон Павлович возвращается домой мрачный, недовольный. Автор в эту именно минуту покидает его, не сообщая ничего о его дальнейшей судьбе, но можно догадываться, что, вернувшись домой, он вернулся и к прежнему образу жизни, лишь изредка вспоминая мгновенья мучительно-сладких ощущений, пережитых им по рецепту босяка Кузьки...

Таковы окольные пути, которыми «жадные жить» герои г. Горького добывают нужные им полноту и разнообразие впечатлений. Пути эти, очевидно, должны быть поставлены отдельно от пьянства, хотя и соприкасаются с ним, — Матрена Орлова не в пьяном виде додразнивает своего мужа до взаимного озлобления, в котором находит, однако, источник некоторой «сладкой боли». Но и самое пьянство этих людей помимо его скотски-грубых проявлений может получить то объяснение, которое Тургенев влагает в уста Веретьеву в «Затишье»: «Посмотрите-ка вон на эту ласточку... Видите, как она смело распоряжается своим маленьким телом, куда хочет, туда и бросит! Вон взвилась, вон ударилась книзу, даже взвизгнула от радости, слышите? Так вот я для чего пью, — чтобы испытать те самые ощущения, которые испытывает эта ласточка. Швыряй себя, куда хочешь; несись, куда вздумается...»

Пойдем дальше. Чтобы «швырять себя, куда хочешь, и нестись, куда вздумается» в пьяном виде, то есть медленно облетать миры фантазии и деятельности, требуется только водка. Но чтобы реально шагать с места на место по всей земле, как этого хотят герои г. Горького, нужна свобода. Не свобода передвижения только, засвидетельствованная законным документом, надлежащими властями выданным, а свобода от всяких постоянных обязанностей, от всяких уз, налагаемых существующими общественными отношениями, происхождением, принадлежностью к известной группе, законами, обычаями, предрассудками, правилами общепринятой морали и т. д. Мы и видим, что герои г. Горького все отличаются свободолюбием в этом широчайшем, безграничном смысле. Макар Чудра объявляет рабом всякого, кто не бродит по земле, куда глаза глядят, а усаживается на месте и так или иначе пускает корни: такой человек «раб, как только родился и во всю жизнь раб». Для «жадного на впечатления» Челкаша Гаврила есть «жадный раб», и Челкашу обидно, что этот раб смеет по-своему «любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна». Значит, есть жадность и жадность. Жадный Гаврила, набрав денег, зароется в свою деревенскую «яму», а жадный Челкаш

сейчас же разменяет эти деньги на острые и разнообразные впечатления севера и юга, востока и запада. На всякого рода границы, как географические, так и моральные, реальные и идеальные, эти отверженные или, вернее, как я уже говорил, отвергнувшие смотрят сверху вниз, с высоты своего «жадного жить» я как на нечто, урезающее это я до непереносимости. Правда, некоторые из них иногда с грустью и даже с умилением вспоминают о своем прошлом, когда они еще входили в состав того или другого определенного общественного целого и сознательно или бессознательно подчинялись его распоряжкам, но это настроение посещает их редко и ненадолго, и вернуться к прошлому они все равно не хотят и не могут. В настоящем их ничто не объединяет в какое-нибудь прочное, постоянное целое. «Народ... он огромный, но я ему чужой и он мне чужой... Вот в чем трагедия моей жизни», — говорит «учитель» в «Бывших людях» (II, 173). Образцы отношений к другим общественным узам мы уже в прошлый раз видели и дальше опять встретим. Для одних из этого проистекает трагедия, для других комедия или даже водевиль, как для Кузьки-Косяка, но это дело темперамента, и суть отношений от этого не изменяется.

Иные из героев г. Горького временами как будто «грядущего града взыскают», но это только разговоры, одна словесность, притом нисколько для них не характерная. Гораздо более свойственные им идеалы и мечты сводятся, как мы видели, к полному отчуждению от людей, полному отсутствию «града» в смысле какого бы то ни было общежития или к совершенно особому виду отношений, об котором сейчас поговорим подробнее, или же, наконец, к планам всеобщего разрушения. Замечательно однообразие, с которым (как и многое другое) высказывают эти планы люди г. Горького, в других отношениях, казалось бы, очень различные. Так, — мы видели — Мальва «избила бы весь народ и потом себя страшною смертью». Так, Орлов мечтает «отличиться на чем-нибудь», хотя бы даже раздробить «всю землю в пыль», «вообще что-нибудь этакое, чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты и потом вниз тормашками — и вдребезги!» А вот еще Аристид Кувалда: «Мне, — говорит он, — было бы приятно, если б земля вдруг вспыхнула и сгорела или разорвалась бы вдребезги. Лишь бы я погиб последний, посмотрев сначала на других» (II, 198). Погибнуть, совершив нечто большее, огромное, грозное, не справляясь с существующей моральной оценкой или даже вопреки ей, — такова мечта.

Но кроме жития на манер Робинзона (причем и Пятницы не надо и его можно за ненадобностью убить) и планов всеобщего разрушения у героев г. Горького есть и еще одна мечта, быть может, самая интересная: они «жадны жить», для чего им нужна безграничная свобода, и никому и ничему они не согласны подчиняться. Но из этого не следует, чтобы каждый из них в отдельности не хотел и других подчинять. Напротив, в подчинении и порабощении других они находят особое наслаждение. Чел-каш «наслаждался, чувствуя себя господином другого» — Гаврилы. Он «наслаждался страхом парня и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек». Он «наслаждался своей силой, которой он поработил этого молодого свежего парня». Оттого-то и Орлов мечтает «встать выше всех людей» и сделать им всем огромную пакость. Но встать выше людей можно не только пакостью, а и благодеянием. И тот же Орлов одно время был одолеваем «жаждою бесконечного подвига», — вот по каким мотивам: «Он чувствовал себя человеком особых свойств. И в нем забилося желание сделать что-то такое, что обратило бы на него внимание всех, всех поразило бы и заставило убедиться в его праве на самочувствие» (II, 125). Поневоле опять и опять вспомнишь Достоевского с его Ставрогиным, который не знал разницы между величайшим подвигом самоотвержения и каким-нибудь зверским делом и с его многочисленными иллюстрациями наслаждения властью, мучительством, тиранством. Жажда благородного подвига сказалась в Орлове, когда он вместе с Матреной поступил на службу в холерную больницу. Но и там ему скоро показалось «тесно», и это место болезни, печали и вздыхания, поманившее его радостью любовного труда, оказалось «ямой». В кратковременный же период увлечения мечтой о подвиге он рассуждал, например, так: «То есть, если бы эта холера да преобразилась бы в человека... в богатыря... хоть в самого Илью Муромца, — сцепился бы я с ней! Иди на смертный бой! Ты сила, и я, Гришка Орлов, сила, — ну, кто кого? И придушил бы я ее и сам бы лег... Крест надо мной в поле и надпись: «Григорий Андреев Орлов. Спас Россию от холеры». Больше ничего не надо». — Но когда ему показалось «тесно», он опять принялся за Матрену, постоянно переходя от страстных ласк к жестокой драке. Однажды, например, он было «поддался» жене — покорно выслушал ее упреки и признал, что нехорошо делает, что дерется. Но на другой же день раскаялся в этом душевном движении и «пришел с определенным намерением победить жену». Вчера, во время столкновения, она была сильнее его, он это чувствовал, и это унижало его в

своих глазах. «Непреренно нужно было, чтобы она опять подчинилась ему; он не понимал почему, но твердо знал — нужно» (II, 143).

Подобные же черты читатель найдет и в других героях и героинях г. Горького. И, как бы проникаясь этим настроением своих созданий, сам автор от себя кладет в одном месте следующую психологическую резолюцию: «Как бы низко не пал человек, он никогда не откажет себе в наслаждении почувствовать себя сильнее, умнее, хотя бы даже сытее своего ближнего» (II, 178)⁹.

Я написал: «Как бы проникаясь настроением своих созданий». В действительности может быть совершенно наоборот: не автор, увлеченный самым процессом творчества, проникается настроением своих персонажей, а, напротив, автор творит людей по своему образу и подобию, накладывая на них нечто свое, задушевное. Во всяком случае, только что приведенная авторская резолюция показывает, что, как бы мы тщательно не всматривались в босяков г. Горького, мы их не поймем и, в частности, не оценим степени их подлинности, пока не приглядимся к самому г. Горькому.

До сих пор мы видели босяков, может быть, и подкрашенных, но во всяком случае реальных. Но в собрании очерков и рассказов г. Горького есть и такие, в которых изображаются босяки, так сказать, отвлеченные, очищенные или даже инсказательные, аллегории и символы босячества. Таковы в первом томе «Песня о Соколе» и то, что Макар Чудра рассказывает про Лой-ка Зобара и Радду, а во втором — рассказ «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины» и то, что старуха Изергиль рассказывает про Данко. Герои этих рассказов — существа фантастические или полуфантастические — столь же вольнолюбивы и жадны жить, как и заправские босяки в освещении г. Горького, но совершенно чужды другой стороны реальной босяцкой жизни — мира тюрем, кабаков и домов терпимости. Понятно, какой интерес представляют эти отвлеченные фантастические существа для уразумения точки зрения автора. Та скорбь и то отвращение, которые он часто не может сдержать при описании пьянства, грубости, цинизма, драк реальных босяков, при этом естественно отпадают, и мы можем рассчитывать получить в чистом виде то, что поднимает отверженных над общим уровнем как в их собственных глазах, так и в глазах автора.

Начнем с рассказа Макара Чудра про Лойка Зобара и Радду. Это рассказывает старый цыган о молодых цыгане и цыганке, и рассказ его блещет роскошью восточных красок, гиперболических сравнений, сказочных подробностей, но я должен признаться, что он производит на меня впечатление неудачной подделки. Дело, впрочем, теперь не в этом. Зобар — красавец писанный, притом смел, умен, силен, вдобавок поет и играет на скрипке так, что когда в таборе, к которому принадлежала Радда, в первый раз услышали, еще издали, его музыку, то произошло следующее: «Всем нам, — рассказывает Чудра, — мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего и жить уже не нужно было или, коли жить, так царями над всей землей». Характерно уже это «или — или»: или ничто, небытие, или вершина вершин. Но Макар Чудра может испытывать это настроение во всей полноте только в минуты экстаза, вызванного чудодейственной музыкой. Другое дело Зобар. И Радда ему под пару: она тоже писаная красавица, тоже умна, сильна, смела. Естественное дело, что когда судьба сталкивает молодого человека и молодую девушку таких исключительных и многообразных достоинств, — между ними возгорается любовь со всем радужным блеском страсти и нежности. Зобар и Радда действительно полюбили друг друга, но, как и у реальных босяков г. Горького, любовь их до боли колюча, — даже до смерти. Радда — та же Мальва, только поднятая на некоторую поэтическую высоту. Отношения начинаются с того, что Зобар, привыкший «играть с девушками как кречет с утками», получает от Радды жесткий и язвительный отпор. Она зло издевается над ним, но он или провидит под этим издевательством нечто иное, или уж очень в себе уверен, а только при всем честном народе обращается к ней с такой речью: «Много я вашей сестры видел, эге много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу! Ну, что же? Чему быть, так то будет, и нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно бы было. Беру тебя в жены перед Богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри воле моей не перечь, я все-таки свободный человек и буду жить так, как я хочу!» И с этими словами подошел к Радде, «стиснув зубы и сверкая глазами». Но Радда вместо ответа свалила его на землю, ловко захлестнув ему за ноги ременное кнутовище, а сама смеется. Зобар, пристыженный и огорченный, ушел в степь и там замер в мрачном раздумьи. Через несколько времени к нему подошла Радда. Он схватился было за нож, но она пригрозила разбить ему голову пистолетной пулей

и затем объяснилась в любви; однако, говорит, «волю-то я, Лойко, люблю больше тебя; а без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня; так вот я хочу, чтоб ты был моим и душой и телом». «Все равно, как ты ни вертись, я тебя одолею», — продолжает она и требует, чтобы он завтра же «покорился» и выразил эту покорность внешними знаками: публично, перед всем табором поклонился бы ей в ноги и поцеловал ей руку. Зобар в другой день является и держит перед табором речь, в которой объясняет, что Радда любит свою волю больше, чем его, а он, напротив, любит Радду больше, чем волю, и потому согласен на поставленные ею условия, но — говорит — «остаётся попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала». С этими словами он вонзает нож в сердце Радды, и она умирает, «улыбаясь и говоря громко и внятно: “Прощай, богатырь Лойко Зобар! Я знала, что ты так сделаешь”». Выходит затем отец Радды и убивает Зобара, но убивает, так сказать, почтительно, как уплачивают долг уважаемому кредитору.

Не жалеет о своей гибели и Сокол в «Песне о Соколе». Он расшибся, падая с высоты на камень (а потом в море), но на вопрос Ужа презрительно и гордо отвечает: «Да, умираю!.. Я славно пожил... Я много прожил... Я храбро бился... И видел небо. Ты не увидишь его так близко... Эх, ты, бедняга!» Заинтересованный этими словами, Уж в меру сил тоже попробовал было подняться к небу, но «рожденный ползать — летать не может», и Уж рассуждает: «Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденьи... Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу». И т. д. Однако песня или сказка («Песня о Соколе» есть будто бы народная крымско-татарская песня-сказка) не согласна с Ужом и поет хвалу жадному жить, свободному Соколу: «О, смелый Сокол! Ты, живший в небе, в бескрайнем небе, любимец солнца! О, смелый Сокол, нашедший в море, безмерном море, себе могилу! Пускай ты умер! Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь призывом громким к свободе, к свету!»

Чиж («О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины»), Чиж — не Сокол. Он птица маленькая и слабкрылая. Однако у него хватило силы и смелости смутить на некоторое время птиц своей рощи песнями о свободе, просторе, призывами «вперед». Но ученый Дятел скоро отвратил от него общественное мнение, доказав птицам, что путь, предлагаемый Чи-

жом, полон опасностей и ни к чему хорошему привести не может. Бедный Чиж, оставленный всеми, горько задумался: «Я солгал, да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там за рощей, но ведь верить и надеяться так хорошо! Я же только и хотел пробудить веру и надежду — и вот почему я солгал... Он, Дятел, может быть, и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья и не позволяет высоко взлетать в небеса?» Чиж предпринял ни больше ни меньше, как возбудил в птицах уверенность, что «мы не должны уставать и должны всегда бороться и все победить, чтобы оправдать самих себя в своих глазах, чтобы иметь право сказать: все прошедшее, настоящее и будущее — это мы, а не слепая сила стихий». Он был тоже жаден жить, этот маленький Чиж. Дятел же отстаивал противоположный тезис: «Все мы — не более, как только крошечные факты, подтверждающие грандиозный акт мудрости и мощи природы, которой мы должны подчиняться, как дети подчиняются матери». Чиж был жаден жить, но слаб и не сумел парировать аргументы Дятла, и толпа отхлынула от него и оставила его в мрачном одиночестве, а автор резюмирует всю историю так: «Чиж благороден, но не имеет веры и потому нищ духом; Дятел благоразумен, но пошел, а птицы-слушатели отзычивы лишь потому, что любопытны, но они, в сущности, черствы сердцем и мелки-мелки, позорно мелки...»

Черствы сердцем, позорно мелки не только птицы той рощи, которую было взбудоражил Чиж и утихомирил Дятел. Старуха Изергиль рассказывает такую легенду. — Где-то, когда-то жили какие-то люди. Нахлынуло на них чужое племя и оттеснило в глухой, дремучий, болотистый лес. Плохо пришлось людям: назад идти нельзя, — там сильные и злые враги, а впереди лес все дремучее, болота все непроходимее. Стали люди болеть, умирать. «Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар себя и волю свою, и никто уж, испуганный смертью, не боялся рабской жизни». Посреди этой запуганной толпы был Данко. Изергиль особенно напирает на его красоту и смелость; должно быть, он был похож на Лойко Зобара. Данко взялся вести своих товарищей по несчастью. Не то чтобы он знал какие-нибудь безопасные или удобные дороги; нет, единственно, на что он сослался, это то, что должен же быть у этого страшного леса где-нибудь конец, потому что ведь всему на свете бывает конец. Но он заявил это с такой уверенностью, что в сердцах слушателей заиграла надежда, и они пошли за Данко. Но лес становился все гуще, мрачнее, люди стали роптать и, наконец, даже грозить Данко смертью. Негодование и жалость к

этим презренным людям овладели Данко, и вот его сердце вспыхнуло ярким огнем желания спасти их и вывести на легкий путь... И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой. Оно же пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота». Руководимые этим факелом люди прошли сквозь лес в степь, но тут Данко, «кинув радостный взор на развернувшуюся перед ним свободную землю», умер. «Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой. И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...»

Данко совершает подвиг самопожертвования, причем оказывается одиноким сначала впереди смущенной толпы, потом одиноким перед разъяренной толпой, потом опять одиноким впереди толпы обнадеженной, спасенной и неблагодарной. Ларра (это имя, по объяснению старухи Изергиль, значит «отверженный, выкинутый вон») тоже одинок в толпе соплеменников, но он не совершает подвига самопожертвования, напротив... Ларра — сын орла и похищенной им женщины. Орел умер («когда он стал слабеть, то поднялся в последний раз высоко на небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы гор»), его невольная жена вернулась к своему племени с 20-летним сыном, сильным, гордым и смелым красавцем, опять-таки вроде Зобара или Данко. Он сразу встал в дурные отношения к старейшинам племени, отказавшись им повиноваться и объявив, что «таких, как он, нет больше». Затем он подошел к одной красивой девушке и обнял ее; она его оттолкнула, а он — «ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, встал так, что из ее уст кровь брызнула к небу, и она вздохнула тяжело, извилась змеей и умерла». Его связали и хотели казнить, но сначала попытались добиться, зачем он убил девушку. Он отказался отвечать связанный, а когда его развязали, сказал следующее: «Я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, что меня оттолкнула она; а мне было нужно ее». Из дальнейшего разговора выяснилось, что «он считает себя первым на земле и что, кроме себя, он не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни подвигов, ни скота, ни жены,

и он не хотел ничего этого». И когда поняли это, то мудрейший из старейшин племени придумал ему страшное наказание: «Наказание ему в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание». Юноша весело ушел и стал жить «свободный, как отец его; но его отец не был человеком, а этот был человек». Он был ловок, силен, хищен, жесток; он приходил время от времени к людям и брал все, что ему нужно было. В него стреляли, но стрелы «не могли пронизать его тела, обвитого невидимым человеку покрывалом высшей кары». Многие, многие годы жил он так, но, наконец, это ему надоело. «Нельзя всегда наслаждаться, — потеряешь цену наслаждению и захочется страдать». Он и пошел к людям с этою целью, но они не тронули его, он покушался убить себя, но смерть не брала его. «В глазах его было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. И так с той поры остался он один, свободный и ищущий смерти. И вот он ходит, ходит повсюду...»

Лойко Зобар, Радда, Сокол, Чиж, Данко, Ларра, — вот вся портретная галерея идеальных, очищенных от грязи босяков г. Горького. Что это именно они, — преображенные Челкаши, Мальвы, Кувалды, Косяки и проч., — в этом едва ли кто-нибудь усомнится. Мы видим в них ту же «жадность жить», то же стремление к ничем не ограниченной свободе; то же фатальное одиночество и отверженность, причем нелегко установить, — отверженные они или отвергнувшие; ту же высокую самооценку и желание первенствовать, покорять, находящие себе оправдание в выраженном или молчаливом признании окружающих; то же тяготение к чему-нибудь чрезвычайному, пусть даже невозможному, за чем должна последовать гибель; ту же жажду наслаждения, соединенную с готовностью как причинить страдание, так и принять его; ту же неуловимость границы между наслаждением и страданием.

Но это не трафареты, а варианты, иногда в отдельных чертах даже слишком близкие между собою, иногда расходящиеся довольно далеко, но, во всяком случае, так сказать, вращающиеся около одной оси. Если, например, Орлов сегодня мечтает о спасении России от холеры ценою собственной жизни, а завтра об избиении «всех до единого жидов» или даже о раздроблении всей земли в пыль, — то в коллекции очищенных босяков подвиг самопожертвования предоставлен Данко, а злодейские подвиги — Ларре; но, несмотря на эту разницу, и тот и

другой являются нам в некотором ореоле гордой силы и красоты. Если Чиж слабокрыл и вообще слаб сам, то он все же зовет других к свободе, простору и, по крайней мере, на некоторое время покоряет сердца птиц призывом к великому делу. Если Коновалов находит ненужным присутствие даже Пятницы на острове Робинзона, а Ларре одиночество досталось в виде страшной кары, то с течением времени Коновалов, надо думать, пожалел бы, что убил «дикого», хотя бы уже потому, что оказался бы в «яме»; а Мальве, тоже мечтающей об одиночестве, люди, наверное, понадобились бы, чтобы «вертеть» ими. С другой стороны, Ларра далеко не сразу почувствовал боль и скорбь одиночества: он наслаждался им «не один десяток длинных годов», и вернулся он к людям потому, что его потянуло к страданию. В целом получается нечто смутное, загадочное, как бы еще только прорезывающееся и, по-видимому, оправдывающее претензию Аристиды Кувалды: мы новость в истории, нам нужны новые воззрения на жизнь...

Появлению таких ли, сяких ли «новых людей», не в виде одиноких ласточек, которые весны не делают, а в виде целого «класса», как это утверждает относительно своих босяков г. Горький, должно соответствовать известное изменение общественных условий. Но после всего сказанного, едва ли есть какая-нибудь надобность доказывать, что герои г. Горького «класса» не составляют как в силу неопределенности их положения, так и, в особенности, в силу проникающего все их существо индивидуализма, исключаяющего возможность прочной группировки. Это, однако, еще ничего не говорит против их «новости». Но мы видели, что г. Горький даже не коснулся тех внешних, объективных условий, которые действительно только в наше время создают босяков; что вследствие этого его «новые» босяки по происхождению ничем не отличаются от старых гулящих людей и голи кабацкой и даже напоминают собою времена кочевого быта. Это подтверждается еще и тем обстоятельством, что в рядах героев г. Горького есть настоящие кочевники, ничем, собственно, из них резко не выделяясь. Зобар, Радда, Данко, Ларра — существа фантастические или, по крайней мере, легендарные; поэтому их, пожалуй, и нельзя брать в счет, хотя и то уже достойно внимания, что эти создания фантазии помещены в условия кочевого быта. Но Изергиль, Макар Чудра — цыгане из тех, которые «шумною толпою по Бессарабии кочуют»¹⁰, то есть настоящие, живые кочевники, насколько они удержались в условиях современной европейской жизни. А между тем их мысли, чувства, поступки в общем совершенно

те же, что Мальвы, Гришки, Кузьки-Косяка и проч. Значит, какая же это «новость»? Это, напротив, нечто очень старое, давно пережитое историей, лишь кое-где сохранившееся в урезанном виде и не имеющее никакой связи со вступительной картиной рассказа «Челкаш», «где гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди — все дышит мощными звуками бешено-стратного гимна Меркурию».

Если, однако, «новость» героев г. Горького ни единою чертою не оправдана с точки зрения их происхождения, порождающего их исторического процесса, то, как я уже говорил, в их психологии есть нечто действительно новое. Но в таком случае можно ожидать, что в психологии кочевников — Изергили, Макара Чудры и их отражений в мире фантазии и легенды, то есть Зоба-ра, Ларры и проч., — автор ввел некоторые произвольные, не соответствующие действительности черты. Так оно и есть.

Слово «чандалы», подвернувшееся мне для обозначения наших босяков и европейского Lumpenproletariat'a, наводит на некоторые любопытные сближения. Существует мнение, что цыгане суть потомки индийских чандалов, когда-то выселившихся или выселенных из родины. Чандалы же индийские суть отверженцы разных каст, цементированные национальным элементом туземного, доарийского населения и затем строгими постановлениями суровых индусских законов и обычаев. Действительно ли цыгане — их потомки, или нет, но они, во всяком случае, представляют собою отверженное (или отвергнувшее) племя, распадающееся, как и все кочевники, не непосредственно на индивидуальные атомы, а на орды, таборы, роды, семьи. Сообразно этому, свобода и свободолюбие кочевого человека представляют собою нечто очень относительное: он с трудом переносит ограничения, налагаемые условиями цивилизованной жизни, но вместе с тем крепко стиснут теми общественными единицами, в состав которых входит. Об цыганской вольной жизни мы имеем совершенно фантастические представления, основанные главным образом на различных «цыганских романах». В действительности, цыган и особенно цыганка находятся в полной власти своего табора, что сохранилось даже в цыганских «хорах», которые дают нам свои концерты; и не только находятся во власти, но и не тяготеют этими узами, доколе остаются настоящими типическими цыганами. Кочевник любит свободу, совсем не так и не такую, как современный босяк, и обратно — какой-нибудь Кузька-Косяк или Сережка, или Коновалов, при всей своей склонности к бродяжеству, почувствова-

ли бы себя очень плохо в таборе, в котором так хорошо уживается Макар Чудра, тоже исповедующий принцип вечного бродяжества. Кочевник бродяжит целой ордой, табором, стадом, с которым связан самыми тесными узами, а Сережка и Кузька бродяжат в одиночку, и никаких уз не знают или не хотят знать. В этом и состоит их «новость», но не только в этом.

Слово «чандалы» наводит еще на одну справку. Выше были указаны некоторые соприкосновения г. Горького с Достоевским. А в 1894 г., излагая на страницах «Русск<ого> бог<атства>» с некоторою подробностью учение Фр. Ницше, я отметил подобные же точки соприкосновения с Достоевским — несчастного немецкого мыслителя. Указывал я и на необыкновенное уважение, с которым Ницше относился к нашему художнику, знакомому ему, по-видимому, только по «Запискам из мертвого дома». В одном из своих сочинений («Götzen-Dämmerung»), восторгаясь силою психологического анализа, с которою Достоевский проникает в душу обитателей Мертвого Дома, Ницше говорит о «чувстве чандала», чувстве «ненависти, мести и восстания против всего существующего», каковое чувство, дескать, живет в душе каждого сильного человека, не нашедшего себе места в современном «покорном, посредственном, кастрированном обществе»¹¹.

Думаю, что читатель не затруднится усмотреть это чувство в героях г. Горького. Но соблазнительная возможность сближения с идеями Ницше идет гораздо дальше. — Предупреждаю, что я отнюдь не думаю доказывать, что свое освещение жизни г. Горький заимствовал у Ницше, — он нигде о нем не упоминает (хотя нашел же случай упомянуть, например, о Шопенгауэре) и, может быть, совсем не знаком с ним. Но тем интереснее совпадение, свидетельствующее о том, что известные идеи носятся в воздухе, не только кристаллизуясь в виде все растущего множества поклонников Ницше в Европе, но вот и у нас прорезывающихся самостоятельно, не говоря о людях, прямо заимствующих свой свет от Ницше. Во всяком случае Ницше со всем своим нравственно-политическим учением не был бы чужим среди философствующих босяков г. Горького.

Начать с того, что одиночество играет в соображениях Ницше не меньшую роль, чем в мечтах и в жизни босяков г. Горького. Ницше слагает настоящие гимны одиночеству и даже предлагает установить новую научную дисциплину: рядом с наукой об обществе — Gesellschaftslehre, науку об одиночестве — Einsamkeitslehre. Но одиночество не только драгоценно и как таковое составляет законный предмет мечтаний; оно не-

избежно для всякого сильного человека, так как любая общественная форма требует от него уступок хоть какой-нибудь части его *я*, а он на подобные уступки согласиться, по самой своей природе, не может*.

Но кроме сильных существуют и слабые, охотно подчиняющиеся многообразным ограничениям свободы, да и для сильных *Einsamkeitslehre* не исключает надобности в *Gesellschaftslehre*, — не потому, чтобы одиночество было невозможно: Ницше не знает ничего лучшего, как «погибнуть на великом и невозможном»; и не потому, чтобы одиночество доставляло страдания: Ницше готов принять страдание и высшее наслаждение для него состоит в борьбе со всеми ее положительными и отрицательными шансами; но главным образом потому, что в сильных живет *Wille zur Macht*, «воля к власти», как у нас буквально переводят. Эта жажда власти, могущества есть, по мнению Ницше, главный двигатель истории и тесно связана с одним из коренных свойств человеческой природы — жестокостью: «...вид страдания доставляет удовольствие, причинение страдания доставляет еще большее удовольствие; таков жесткий, но старый и могущественный закон» («*Genealogie der Moral*»**). Аскетическая практика самоистязания в ее свирепых формах имеет тот же источник: за отсутствием или недостижимостью других, индийский фанатик и т. п. терзает свое собственное тело и притом наслаждается своим превосходством над теми, кто не в силах это делать. Слабость, трусость, лицемерие часто заслоняют эти коренные свойства человеческой природы, и в настоящее время у цивилизованных народов создали «мораль рабов» в противоположность «морали господ», которую некогда исповедовали сильные, жизнерадостные, жестокие, чувственные, властные люди — «великолепные, жаждущие победы и добычи животные». То было время торжества красоты, силы, время здоровых инстинктов, не изъеденных рассудоч-

* Когда Ларру спросили, зачем он убил девушку (см. выше), он отвечал: «Она оттолкнула меня, а мне было нужно ее». — «Но ведь она не твоя?» — сказали ему. — «Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет своего только речь, руки и ноги, а владеет он животными, женщинами, землей и многим еще». — Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой, — своим умом и силой, своей свободой и жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым» (Горький, I, 110—111).

** «Генеалогия морали» (нем.). — *Ред.*

ным анализом и мертвящей рефлексией*. Ныне торжествует «мораль рабов», в основании которой лежит кротость, смирение, покорность, умеренность и аккуратность, не воздействие на обстоятельства, а подчинение им. Но временами прокидываются экземпляры прирожденных «господ», которым принадлежит будущее. Они суть прообразы «сверхчеловека», имеющего наследовать землю. В настоящее же время они суть чандалы, отверженные или отвергнувшие носители чувств мести и ненависти ко всему существующему, не уживающиеся в тех, если угодно, «ямах», которые им предлагаются существующими условиями, и населяющие Мертвый Дом Достоевского. Но этот исход не единственный, это только случай победы прирожденного «господина» рабским обществом; возможен и противоположный исход, когда чандал, преступивший все законы и всю мораль рабского общества, становится его действительным господином: таков был Наполеон. (Напомню, что и для Раскольникова в «Преступлении и наказании», считавшего себя необыкновенным, из ряда вон выходящим человеком, имеющим право «преступить», Наполеон был идеалом.)

Я не думаю, конечно, излагать здесь все взгляды Ницше и оставлю в стороне многое, очень многое, в том числе подробность о «сверхчеловеке», о проповеди «любви к дальнему» взамен «любви к ближнему» и т. п. Все это не имеет своей параллели в произведениях г. Горького. Для нас интересна здесь только психология чандалов. И, полагаю, никто не усомнится признать разительное сходство ее с психологией героев г. Горького. Кто, как не ницшевские прирожденные господа этот Челкаш в противоположность рабу Гавриле, Сокол в противоположность Ужу, Кузька-Косяк в противоположность мельнику, Данко в противоположность всему табору, удалец Сережка в противоположность разной деревенщине, даже отчасти Чиж в противоположность Дятлу, или Макар Чудра, который учит автора: «Что ж, он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилы себе выковырять? Ведома ему воля? Жизнь степная понятна? Говор морской вол-

* Г. Горький в одном месте раздумывается «о великом горящем сердце Данко (а почему бы и не о Зобаре и Ларре? — *Н. М.*) и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд, о старине, в которой были герои и подвиги, и о печальном времени, бедном сильными людьми и крупными событиями, богатом холодным недоверием, смеющимся надо всем, — жалким временем мизерных людей с мертворожденными сердцами» (I, 132).

ны веселит ему сердце? Эге! Он раб как только родился и во всю жизнь раб».

Отмечу некоторые любопытные детали. Ницше рекомендовал (в «Morgenröthe» *) всем, кому тесно в Европе и кто, конечно, чувствует себя «господином», удаляться в дикие места и там основывать новые государства, становясь во главе их. Ницше, как сообщают его биографы, и сам одно время мечтал о подобной роли. Не напоминает ли это читателю мысленное переселение Коновалова на остров Робинзона? Хотя Коновалов устранял оттуда даже Пятницу, но, как я уже говорил, по всей вероятности, скоро пожалел бы об этом. По крайней мере, Мальва мечтает или жить далеко в море в полном одиночестве и, следовательно, никому не подчиняться, или «завертеть бы каждого человека, да и пустить волчком вокруг себя», то есть себе подчинить.

Мы видели, что босяки г. Горького не особенно мягко относятся к своим дамам и бьют их. А Ларра, осужденный на одиночество, приходил брать у своих соплеменников силком «скот, девушек, все, что хотел». Значит, присутствие женщин не нарушало его одиночества, женщина в счет не идет. Для Ницше женщина «изящная и опасная игрушка», высшею мечтою которой должна быть надежда родить сверхчеловека. А мудрая старушка советует Заратустре: «Если ты идешь к женщине, не забудь захватить кнут». Но, конечно, и мудрая старушка, и сам Заратустра сделали бы исключение, например, для Радды, которая, будучи прирожденной «госпожей», столь же мало способна подчиниться Зобару, как и он ей.

Еще одно — и последнее — мелкое замечание, оправдать которое предоставляю самому читателю: кто читал статью Ницше «Von Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben» **, тот может принять рассказ г. Горького о Чиже и Дятле чуть не за художественный комментарий к этой статье...

Что из всего этого следует? Прежде всего то, что больной немецкий мыслитель-художник, произведения которого переполнены странностями, противоречиями, произвольными положениями и выводами, но тем не менее высокообразованный и высокодаровитый, а некоторые утверждают — даже гениальный, что этот мыслитель-художник может занять место среди русских Челкашей, Сережек, Кузек и прочих грубых, пьяных, преступных, невежественных героев г. Горького. Это не так

* «Утренняя заря» (нем.). — *Ред.*

** «О пользе и вреде истории для жизни» (нем.). — *Ред.*

странно, как может показаться с первого взгляда. С одной стороны, сам Ницше различает чандалов — обитателей Мертвого Дома и чандалов — Наполеонов, причем различие это устанавливает не по существу, а по случайностям судьбы тех и других; с другой стороны, и в коллекции г. Горького есть не только Сережки и Кузьки, а и облитые поэтическим ореолом Зобары, Данки, Соколы, Ларры. Наконец, мы имеем еще промежуточное звено в лице многих героев Достоевского, каковы не только обитатели Мертвого Дома, приближающиеся к Сережкам и Челкашам, а и Ставрогины, Раскольниковы и проч., приближающиеся к Зобарам, Ларрам, Наполеонам.

Повторяю, я отнюдь не утверждаю, что на г. Горького имел влияние Ницше, и склонен, напротив, думать, что это именно совпадение, а не сознательное усвоение или бессознательное подражание. Влияние Достоевского может быть достовернее. Но, во всяком случае, мы имеем трех писателей, весьма различных, по-видимому, и по совокупности образа мыслей, и по степени таланта, и по форме работы, но сосредоточивших свое внимание на одних и тех же явлениях душевной жизни, весьма мало изученных. И, по-видимому, эти явления становятся все ярче, заметнее, потому что вот, по крайней мере, в Европе они нашли себе теоретическое обоснование и апологию в учении Ницше.

Надо, однако, заметить, что физиономия Ницше представляет собою нечто чрезвычайно сложное и противоречивое, ввиду чего в Европе, несомненно переживающей сейчас некоторый духовный кризис, им интересуются, желают опереться на него или причислить его к своим люди чрезвычайно различных направлений. Не говорю о тех, кто гонится за всякой новинкой, какова бы она ни была, лишь бы это было хронологически «последнее слово», и кого ни к чему не обязывает это последнее слово, из которого они, впрочем, и корысти никакой не извлекают, а так себе, как перо на шляпе носят. Но вот, например, нравственно распущенные люди, люди *sans foi ni loi** пожела-ли опереться на «иммориализм» Ницше; и совершенно напрасно, потому что хотя он и сам называл себя «иммориалистом», но, в сущности, он настоящий моралист, притом очень строгий, только его мораль резко отличается от ныне общепризнанной. В Европе все растет разочарование в общественных формах, выработанных ее историей, и не только реальных, но и в тех грядущих формах, которые вырабатываются различными

* не признающие законов (фр.). — *Ред.*

социалистическими системами. Одним из плодов этого разочарования является анархизм. Некоторые из исповедующих анархизм и приветствовали Ницше. Они имели для этого некоторое основание в той части его учения, которая беспощадно разрушает все, как реальные, так и идеальные общественные формы, дескать, стесняющие и урезывающие личность, и также и еще кое в чем. Но, узнав об этом, Ницше вложил в уста своему Заратустре такие слова: «Есть люди, проповедующие мое учение о жизни; и в то же время это проповедники равенства и тарантулы. Я не хочу, чтобы меня смешивали с этими проповедниками равенства». И действительно, трудно найти большего ненавистника идеи равенства, чем Ницше. Его учение аристократическое *dürch und durch**, как говорят немцы. О рабочих он выражается так: «Побрал бы их черт и статистика»; к толпе, партии, большинству, множеству, массам, народу он относится с величайшим презрением, не примыкая, однако, ни к одному из существующих аристократических течений и, напротив, громя наличные аристократии рода и капитала, однако, и в этом отношении есть в европейской литературе явления, которые можно поставить в связи с учением Ницше. Это, во-первых, некоторые отроги дарвинизма (как читатель мог видеть хотя бы из недавней нашей беседы о книге «*Von Darwin bis Nietzsche*» **¹²). Это, во-вторых, ряд если не прямо аристократических, то, во всяком случае, антидемократических толкований вопроса о «героях и толпе»***. Наконец, и некоторые декаденты не без основания признают Ницше своим, хотя должны бы это делать с большими оговорками.

Все это я говорю как вообще в виду растущего у нас интереса к учению Ницше****, так, в частности, для убеждения читателя в том, что усвоение той или другой стороны этого учения,

* насквозь, до мозга костей (*нем.*). — *Ред.*

** «От Дарвина к Ницше» (*нем.*). — *Ред.*

*** Вопрос этот очень занимает европейскую литературу. Не говоря об известных и русским читателям сочинениях Тарда, Сигеле, Лебона, то и дело появляются на эту тему новые книги и журнальные статьи.

**** В самое последнее время кроме журнальных статей появились Алоиз Риль и Г. Зиммель «Фридрих Ницше» (очерк Рилия появился и раньше, в другом издании); Герман Тюрк «Философия эгоизма» (сокращенный и довольно произвольный перевод отрывка из книги «*Der geniale Mensch*»); «Граф Л. Н. Толстой и Фридрих Ницше. Очерк философско-нравственного их мировоззрения» проф. В. Г. Щеглова.

а тем более совпадение с одной из них, отнюдь не обязательно ведет к принятию всего Ницше. В данном случае у нас речь идет главным образом о некоторых темных явлениях душевной жизни, которые в нашей литературе разрабатывались Достоевским, совершенно самостоятельно и раньше Ницше; причем общее мировоззрение Достоевского резко отличается от мировоззрения Ницше и во многих отношениях даже прямо противоположно: если бы Ницше знал всего Достоевского, то, конечно, не отзывался бы об нем с такой восторженностью, как теперь.

Что касается г. Максима Горького, то он слишком молод (разумею, конечно, литературную молодость) и недостаточно определился, чтобы можно было судить как об его общем мировоззрении, так и о его дальнейшей литературной карьере. Его талантливость, наблюдательность и оригинальность не подлежат сомнению. Но все это может в будущем и расцвести пышным цветком, и если не иссякнуть, то затеряться в погоне за психологическими тонкостями, в своего рода психологической гастрономии, презирающей здоровое и питательное, и ищущей острого, пряного, редкого и исключительного. Конечно, и редкое вполне достойно нашего внимания, тем более что оно часто оттеняет собою и, следовательно, уясняет общие душевные процессы. Но психологические гастрономы, — к числу которых и Достоевский принадлежал, — склонны, во-первых, придавать исключительному слишком общее значение, а, во-вторых, искусственно и произвольно составлять разные пикантные комбинации.

«Декаденты — тонкие люди. Тонкие и острые, как иглы, они глубоко вонзаются в неизвестное». Это говорит у г. Горького один из героев рассказа «Ошибка» (I, 153). Я до сих пор не касался этого странного рассказа, стоящего особняком в двух томиках г. Горького, но ясно указывающего, мне кажется, на те опасности, которые грозят автору на его дальнейшем литературном пути. Декаденты (конечно, искренние, потому что есть и просто ломающиеся, ради интересной позы) желали бы быть подобны тонким и острым иглам, глубоко вонзающимся в неизвестное, но в действительности закутывают туманом и извращают вычурностью даже вполне известное. И вот этот-то туман и эта вычурность вместо искомой тончайшей правды грозят и г. Горькому. Он может считать себя неотвественным за приведенную хвалу декадентам, потому что высказывает ее психически больной Кирилл Иванович Ярославцев. Но вместе с тем как Ярославцеву, так и другому действующему лицу, тоже психически больному Марку Даниловичу Кравцову, приписа-

ны мысли и настроения, общие всем босякам г. Горького (хотя и Ярославцев, и Кравцов не босяки) и, очевидно, очень занимающие автора. Тут и «человек, к жизни не причастный и от нее отторгнутый», и жажда подвига, и афоризм: «Жалость и жестокость! да ведь это два совершенно однородные слова»; и желание «вывести вон из жизни всех тех людей, которые, несмотря на свои пятна, все-таки самые светские люди жизни»; и предложение «выйти за границы жизни в песчаные необитаемые пустыни»; и т. д. Сомневаюсь, чтобы специалист психиатр нашел картины болезни Ярославцева и Кравцова соответствующими действительности; думаю, что это совершенно произвольная психиатрия. А вместе с тем не выясняются и так занимающие г. Горького мысли и настроения, потому что двое сумасшедших, конечно, могут только запутать дело.

Остановимся хоть на одном пункте. «Жалость и жестокость — два совершенно однородные слова», и Ярославцеву «удивительно, как это до сей поры никто не замечал, что это синонимы по смыслу». Это одна из вариаций на тему о границах наслаждения и страдания. Но вот как иллюстрирует свой афоризм Ярославцев. Однажды в деревне он был свидетелем следующей сцены: телка упала в овраг и сломала себе передние ноги; собралась толпа, она «стояла вокруг телки и больше с любопытством, чем с состраданием, наблюдала за ее движениями и слушала ее стоны»; подошел кузнец Матвей и, обругав «дурачьем» «любующихся» на страдания телки, ударил ее по голове железной полосой и тем прекратил страдания. Ярославцев заключает: «Вот он как жалел, этот Матвей! Может быть, он так же бы поступил и с человеком безнадежно больным. Морально это или не морально? Во всяком случае, это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо. Я люблю хорошее, и это морально; я слаб, и, значит, я хорош! Вот как!» — Я уже не говорю о полной бессмыслице последних слов, тут даже и разобрать ничего нельзя. Но возьмем самый факт, иллюстрирующий положение о тождественности жалости и жестокости. Ясно, что жестока была толпа, если она «любовалась» зрелищем страданий телки, и тут можно подозревать загадочную смесь жестокости и сострадания, но кузнец Матвей, очевидно, не годится для иллюстрации тождества жалости и жестокости. Жестокость причиняет страдание или любит на него, а кузнец обругал любующихся и прекратил страдание. Нет, значит, никакого повода делать из этого простого и ясного факта что-то загадочное, таинственное, для проникновения в которое требуются тонкие и острые иглы декадентства.

Интересно изречение Ярославцева: «Это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо». Это говорит психически больной человек, и, следовательно, опять-таки автор за эти слова не ответствен. Но то, что поднимает над окружающими всех босяков г. Горького, — очищенных и неочищенных, реальных и легендарных или символических, — есть сила, и именно «прежде всего сила». Куда она направится — на величайший ли подвиг самоотвержения, или на величайшее, даже фантастическое злодейство, — это вопрос второй и даже, может быть, безразличный: «Это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо». Так склонны смотреть все босяки г. Горького, стирая общепризнанные, по крайней мере на словах, границы между добром и злом и требуя, устами философствующего отставного ротмистра Аристиды Кувалды, «новых» критериев морали. Смелость и откровенность, с которыми отверженцы ставят и даже практически разрешают этот вопрос, импонируют окружающим, а босяков, очищенных, легендарных, даже окружают блеском поэтического ореола. Очевидно, однако, что, признав вместе с ними «прежде всего силу» верховным критерием морали, мы оказались бы во власти целой сети недоразумений, из которых остановимся на одном. Герои г. Горького «жадны жить», ищут «возбуждения всей души». Формы, в которых проявляется эта жадность, обуславливаются обстоятельствами времени и места; если бы, например, жизнь предлагала героям г. Горького не «ямы», а достаточное «возбуждение всей души» на месте, то им незачем было бы бродяжить. Как бы мы ни относились, однако, ко всем этим частностям, нельзя не остановиться на том, что из разнообразных отношений к людям, какие могут «возбуждать душу», они выше всего ставят мотивы властного повелительного воздействия, которое способно доводить до жестокости и мучительства, и, следовательно, роют другим возмутительнейшие «ямы»; а нет почему-нибудь поприща для такого воздействия, — так и совсем не надо людей, можно и в одиночку прожить, или же — смерть (вместе со всем человечеством, как в мечтах Кувалды и Орлова, или вместе с непокоряющимся субъектом, как в случае Зобара и Радды). «Жадность жить», требующая «возбуждения всей души», есть явление законное и желательное, действительно способное образовать собою психологический фундамент высокой морали. Жалки люди, не знающие этой жадности и соглашающиеся быть инструментами с оборванными струнами; но если и признать, что *Wille zur Macht*, жажда власти, превосходства, есть необходимая струна человеческой души, то

все же она лишь одна из струн, и при «возбуждении всей души» ее звуки должны гармонически умеряться иными звуками. Раз мы это признаем, мы тотчас увидим несостоятельность тезиса: «Это прежде всего сильно и потому морально и хорошо»; увидим и разницу между действиями Дан-ко, с одной стороны, и Ларры — с другой, между мечтой Орлова спасти Россию от холеры и его же мечтой перебить всех жидов или раздробить землю в пыль. Пусть Данко руководился жаждою первенства и власти, когда шел впереди своих людей из лесу, освещая им путь своим горящим сердцем, — но он вместе с тем сострадал этим людям, переживал их жизнь; следовательно, в его душе звенела, по крайней мере, одна лишняя струна по сравнению с Ларрой, который оказался не способным переживать чужую жизнь и только желал «быть первым». Пусть честолюбие было одним из мотивов Орлова, когда он хотел на смерть схватиться с холерой, но он вместе с тем переживал жизнь виденных им в холерной больнице страдальцев; следовательно, его жизнь была в этот момент полнее, богаче, чем тогда, когда он, именно от пустоты жизни, мечтал об избиении жидов и раздроблении земли. Разница, кажется, достаточно ясная, для того чтобы мы могли, именно с точки зрения «жадности жить», отвергнуть положение: «Это прежде всего сильно, а потому морально и хорошо». «Учитель» в «Бывших людях» не забыл римской истории и знает, что «гольтепа создала Рим». Согласился ли бы он с приведенным положением, если бы ему иллюстрировали его так: Нерон сжег Рим, распинал и отдавал на съедение зверям разную «гольтепу», не отказывая себе, впрочем, в удовольствии казнить и знатных, и богатых, — это было сильно, а потому морально и хорошо; Спартак сплотил разную «гольтепу» и три года держал миродержавный Рим в страхе, — это было сильно, а потому морально и хорошо. Боюсь, что по пристрастию к «гольтепе», довольно, впрочем, в его положении естественному, «учитель» нашел бы, что никакие декадентские иглы, как бы они ни были остры и тонки, не сошьют эти два явления в однородное целое.

Мне кажется, что г. Горького одолевает некоторая не совсем для него самого ясная идея; именно одолевает, несмотря на свою неясность, а может быть, благодаря этой неясности. И только когда он от ее гнета так или иначе освободится, — совсем ли ее отбросить или вполне овладеть ею, — мы получим

возможность окончательно судить о размерах и значении приобретения, сделанного в его лице нашей литературой. Как ни несомненно его знакомство с изображаемым им миром, но слишком подозрительна эта частая повторяемость одних и тех же (очень, впрочем, интересных) мотивов, даже одних и тех же выражений, слов; тем более подозрительна, что эти мотивы и выражения г. Горький предоставляет и не босякам, существам фантастическим и аллегорическим, а также двум сумасшедшим. Это свидетельствует, я думаю, что к своим наблюдениям г. Горький прибавляет кое-что, им не наблюдавшееся, но его самого очень занимающее. Это бы еще не беда, но — да простится мне грубоватое и, может быть, не совсем удачное слово — г. Горький еще не переварил того, что его так занимает, не усвоил настолько, чтобы претворять в образы и картины. Идея, занимающая автора, не сливается в одно органическое целое с его наблюдениями, автор ее подсовывает своим действующим лицам. Отсюда многие художественные бестактности, об которых я уже упоминал и распространяться об которых мне не хочется.

К сожалению, г. Горькому грозит в будущем нечто гораздо худшее, чем эти досадные бестактности, а именно — «тонкие и острые иглы декадентства», которые в действительности не только не тонки и не остры, а, напротив, очень грубы и тупы.

Но в двух томиках г. Горького есть и совсем иного рода задатки. Босяки занимают в этих двух томиках столько места и автор такими усиленными эффектами привлекает к ним внимание читателей, что не удивительно, если критика просто даже не заметила двух рассказов или очерков, не имеющих к босякам никакого отношения, ни прямого, ни косвенного, ни реального, ни аллегорического. Это, во-первых, «Ярмарка в Голтве» — маленький очерк, написанный без претензий на какую-нибудь глубину или «проникновение», безделка, но вся пропитанная каким-то мягким, светлым юмором, производящим тем большее впечатление, что этого элемента совсем нет в других произведениях г. Горького. Это, во-вторых, рассказ «Скуки ради», гораздо более серьезный и значительный по замыслу и истинно превосходный по исполнению. Самое чуткое ухо не услышит здесь ни одной фальшивой ноты, самая строгая рука не вычеркнет и не прибавит ни одного слова. И хотя тут нет ни одного босяка и никто не жалуется на «яму», но читатель и без авторского подсказывания сам скажет: какая яма! какая ужасная яма эта жизнь, в которой «скуки ради» проделывается возмутительнейшее издевательство над людьми

ми! Прodelывается не злобно, а именно только скуки ради, как суррогат настоящей жизни. И сами эти жестокие забавники, творящие издевательство, но не ведающие, что творят, вызывают, несмотря на свою отупелость, едва ли даже не больше сожаления, чем их жертвы; ибо и они, эти жестокие забавники, — жертвы «ямы»... Рассказ этот так целен и в цельности своей хорош, что я не стану передавать его содержание или приводит отрывки из него, — и то и другое может только ослабить впечатление.

Если к этим двум задаткам, очень разной цены, но одинаково цельным и законченным, прибавить отдельные страницы вроде вышеупомянутой сцены пения в «Тоске» и превосходные пейзажи, рассыпанные в произведениях г. Горького, то станет ясно, что мы имеем дело с большой художественной силой. И неужели же этой силе суждено заглухнуть в какой-нибудь нашей «яме» или уверовать в тонкость и остроту декадентских иголок?

